

Р. Д. ЗАРУБЕЖЬЕ

ВЛАДИМИР РЫБАКОВ

ТЕНЬ

ТОПОРА



PG

3485.7

Y137

T46

1991

ВЛАДИМИР РЫБАКОВ

**ТЕНЬ
ТОПОРА**

РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МГП „ПЕТРОПОЛИС”
1991



На обложке – фрагмент
картины П. Филонова

Р 4702010201-04 Без объявления
В 27(03)-91

ISBN 5-87328-006-1

© Владимир Рыбаков, 1991

© Оформление – В. М. Иванов, 1991

Г л а в а I

ОТПУСК БУРОВОГО МАСТЕРА

Нежданно-негаданно пришел к Василию Нефедову, буровому мастеру, отпуск. Ему последнее время было не до многочисленных свободных дней.

На соседней вышке все пошло кувырком: двое ребят сгорели; да еще ртуть свалилась за полсотню градусов; напоследок жена бросила - по причине долгого отсутствия Нефедова в квартире.

Нефедова вышка стоила миллионы, ответственность страшная плюс партийный билет. Подумал Нефедов крепко и отдал без суда бывшей жене свою квартиру в городе: на, живи, мне не жалко. Буровые с нежной музыкой прогрызали километры земли, ухо желало бесконечности этого однообразного вибрирующего звука. Дизеля тихонько фыркали, люди спокойно чертыхались. Скоро или не скоро, но приползет краткое лето, вокруг засияют мох и трава. Потом метели придут, если не устали за прошлый год. Повариха Клава была женщиной хорошей, доброй, в ласке изголодавшемуся не отказывала, но по твердости характера любила выбирать время, место и не иметь никогда больше одного мужика. Но бурового мастера она всегда уваживала вне очереди.

Чего еще желать, ну чего, коли горя нет?

А тут из управления:

- Собирайся, Нефедов, черед твой пришел.

- Какой еще черед?

- В отпуск идти. Шесть месяцев тебе положено.

Понял? Вали в управление, а оттедова на Кавказ. Там и дождешься счастья.

- Иди ты знаешь куда...

- Это все знают.

Нефедов не знал. Он вышел за большие двери управления, полные стекла, постоял в нерешит



несколько секунд и пошел по привычке к месту своей бывшей прописки, к бывшей жене, уже чувствуя, как ухо страдает по дизелям, душа - по ребятам, сердце - по тяжести ответственности.

Открыла жена. Глаза бегают. Всегда бегали. Голос пищит. Всегда пищал. Круглые глаза у нее, с хитрой искоркой посередине. И голова кругленькая. "Ничего не поделаешь,- подумал Нефедов, - скучное у бывшей жены тело". Усмехнулся, передразнил ее любимые слова после замужества:

- Мой-то сегодня вдрызг пришел...

Бывшая жена рассмеялась. Мелко и сладко. А ведь атласистая для него была. Нефедов сел на стул, сразу застонавший, готовый развалиться.

Голос запищал:

- Вась, гэдээрровский же гарнитур... Всегда ты так с пудами своими...

Голос бывшей жены неприятно набирал высоту:

- Всегда ты так... сколько разов можно говорить!

Стало невмоготу. Спросил Василий, чтобы хоть как-нибудь плюнуть в этот скудный бездушный квартирный мир маленьких людей вроде этой бабы:

- Кто у тебя теперь? Небось, из управления? Познакомилась, когда за моей зарплатой ходила?

Глаза бывшей жены вдруг сверкнули свежей дерзостью, лицо стало привлекательным грозностью:

- Да. И что? Он меня не оставляет, не бегаёт по тундрам, как мальчишка.

Нефедову стало совсем тяжело. Ревность к неизвестному городскому человеку замельтешила, стала поворовски вертеть шеей. Он еле удержался от искушения разбить кулаком рядом стоящий заграничный шифоньер.

Как многие люди, сильные от природы, Нефедов не любил злиться. Он встал, решив, что больше никогда не увидит этой жилплощади. Пробормотал в растерянной тоске:

- Вот именно, по тундре не бегаёт... не бегаёт...

И ушел, глядя исключительно на свои ноги, обутые в изящные торбаза. Далеко, в конце железной дороги, было теплое море. Из окна вагона будут видны поля и города. Обычно мысли о дороге вызывали в Не-

федове воспоминания о мечтах детства. Теперь он видел игрушечный паровоз, однообразно, пока батареи не иссякнут, вертящийся вокруг стола.

Шесть свободных месяцев. Сколько же лет он не был в отпуске? И почему он забыл о нем?

А ведь когда-нибудь и на одной из его вышек вырвется на Божий свет неуправляемый газовый фонтан. И вознесется Нефедов туда, в тартарары, туда, куда не знаю.

И думал весь день Нефедов: "Непонятно все, непонятно и трудно". "Все" - означало, вероятно, жить, много думая. Этой жизни было у него еще на полгода. Привокзальный ресторан, куда он зашел, казался мал, официанты - малокровными людьми, блюда - малопахучими. Только водка оставалась водкой. Водка всегда будет. Ночью он уже катил, но не на Кавказ, а по привычке куда-то не к югу. На безымянной станции он сошел с поезда и подошел к молодой женщине, продававшей сметану.

- Слушай, молодуха, мужик у тебя есть?

- Нету.

- А простыни?

- Нету.

Женщина блеснула вскипенными зубами, поглядела вслед уходящему составу, промолвила мягко, словно обращаясь к больному:

- Ушел твой поезд. Что делать будешь?

К Нефедову приходила веселость. После душного вагона от мороза легко кружилась голова; снег, иссиня-белый, скрипел себе под торбазами. Кровь била толчками в сердце, ощутимо и приятно. Пришло от этой молодухи к Нефедову легкое искристое счастье, какое иногда приходит к человеку от случайного дерева, от былинки, торчащей среди других былинки. Ответил:

- Что делать буду? На тебя глядеть.

В глазах женщины родилась и умерла тревога: "Нет, парень не псих, просто веселый; наверное, в отпуске. Они все тогда немного чумные".

Нефедов глядел на розовость ее лица и думал, как он пойдет вот с этой молодухой в ихнее сельпо и купит ей простыни, и кровать со спинками, и колбасы хорошей, и водки... и будут они гулять... Василию хотелось развить чудесно выскочившую мысль, но фан-

тазия отвернулась, а взгляд натолкнулся на руки молодухи, держащие крынку со сметаной. Руки очень большие, будто неправдоподобно глупо пришитые к тонким запястьям, были неприятно красными и с дряблечей.

Нефедов, почувствовав, как с душком стало счастье, отвел глаза. Спросил:

- Где у вас тут дорога?

Молодуха смотрела ему вслед, жалея, что не продала сметану, и чуть тоскуя по понравившемуся веселому парню.

Дни куролесили, то проскакивали, как пустяковые полустанки, то тянулись, будто лежал Нефедов в постели надоевшей женщины.

Нарьян-Мар был словно окутан грузными тучами, одноцветными и лишенными жизни. Самолет, вконец выматывая душу, подпрыгивал на полосе. Нефедов, уже втянувшись в бродячую жизнь, равнодушно икал. Месяц прошел, как он покинул вышку; она снилась исковерканная взрывом, замерзшая, покрывающаяся снегом, и часто Нефедов едва не просыпался от душевной боли за нее. Даже после упорной ходьбы по Кижам ему ночью приходил-являлся не русак с топором, а блаженная улыбка уснувшего навсегда дизельного мотора.

В Архангельске Нефедов пошел выполнять поручение товарища: навестить его мать, передать деньги. В полуподвале большого дома согнутая старуха встретила его бранью:

- И ты, наверно, такой, все с жизнью согласиться не хочешь...

Вялые грязные волосы старухи дрожали вместе с яростной головой:

- ...Не хочешь, а? Все вы такие, погибли на вас нет. Горя не видели, понять не можете. А?!

Она цепко хватанула протянутые Нефедовым деньги, позвала:

- Миша, внучек.

От постели отделился комочек, тощий и жилистый мальчуган с глазами светлыми от незнания мира. "Днем

в подвале, должно быть, темно", - подумал Нефедов. Только наклонившееся солнце было способно достать окошко, пробиваясь через ноги проходящих по улице людей. Василий невольно согнулся, как это должно делать солнце.

Прижав к себе парнишку, старая женщина успокоилась. Заговорила, глядя мальчика так, как успокаивают себя:

- Сядь-ка, да не сердись. Я не со зла. Только не понимаете вы, молодые, что такое хорошо и что - плохо. Когда голод, тогда плохо, тогда человеки друг друга не любят... Теперь люди едят досыта, место в них для радости появилось, а вы все равно, как голодные. Мой Тишка через это и сел. Все ему чего-то не хватало большего. Спросишь, сам не знает, что ответить. Буянил, дрался, сквернословил начальству, что деньги ему дает. Через все это и сел. Ты тоже такой?

Усмехнулся Нефедов самому себе:

- Нет, бабушка, я не такой. Мастер я, бригадир. Начальство я Тимофею. То самое. А может, и не то самое, - поправился Василий, сам уже путаясь в старушечьих невольных словах-ловушках.

Глаза старушки засуетились, стали меньше.

Нефедов огляделся. Квартирка была опрятной, мебель добротной, паркет пола блестел из-под ковровых дорожек. Через окошко можно было видеть, встав на стол, каждый день кусок неба, в определенный час вечера - часть солнца и иногда ночью - даже кусок месяца.

- А сын ваш, - сказал Василий, - работает хорошо, жаловаться не приходится. Скоро к вам, наверное, вернется. Будьте здоровы!

Старушка проводила Василия до самой двери, а там, все бегая глазами, попросила его нагнуться и, когда Василий послушно наклонил тело, неожиданно тепло прикоснулась губами к его лбу.

Об этой старушке и вспомнил Нефедов, шагая по нарьян-марскому лётному полю. И простое житейское горе, очень нужное, приблизилось к нему откуда-то сверху, словно чтобы поцеловать в лоб. Не мог же он старушке сказать: "Снова сел твой сын, а деньги мои. У меня их прорва".

В ресторане аэропорта он подумал: "Что это такое за <<теплое море>>? Что это со мной происходит? Может, права эта старуха из подвала, не могу и я с чем-то согласиться?"

Сколько ни бродила мысль по памяти, все возвращалась назад пустовато-звонкой. Иногда под напряжением воли она за что-то цеплялась, держалась за некое веское и многозначительное... и срывалась. Нефедов, вздохнув, отпустил мысль восвояси: гуляй.

Ресторан был уютным небрежностью столиков, густым прокуренным воздухом. Найдя сходство этой "пищепринималки" с заводской курилкой его юности, Нефедов в возникшем, как предзарплатном, настроении захотел перекинуться с кем-либо разговором. Официант был уморен трудовым деньком, да и в глазах его отсвечивала рыба натура человека, не ведавшего значимости дружеской беседы.

Слева жевал водку командировочный капитан. Справа ел антрекот худой парень. Он жмурил от удовлетворения глаза, лицо было размякшим. Только тело беспокойно шевелилось, в то же время сохраняя неправдоподобно вертикальное положение. Нефедов добродушно усмехнулся, подумал: "Антрекот, мягкий стул, фужер. Есть к чему привыкать. Судя по морде, не меньше трояка отсидел". Он позвал:

- Слушай, парень, брось всухомятку. Присаживайся. Вали.

Глаза парня медленно, с животной недоверчивостью, поднялись от тарелки к Нефедову. Уверенная мощь приглашавшего его человека, мягкая ирония на лице, след большого опыта, готовность простодушно принять отказ и мгновенно забыть о приглашении убедили парня. Он кивнул головой и пересел.

Нефедов, едва взглянув на лицо парня, определил: "Не блатной и не работяга. Лицо не сковано однообразным трудом, и его не опошילה беспощадная мертвенность, сидящая в глазах каждого истинного блатняги. Этот парень, должно быть, любит работать головой".

Буровой мастер остался доволен беглым, но профессиональным осмотром своего случайного собутыльника. Он хлопнул паренька по плечу и налил ему стакан водки.

Парень посоловел мгновенно, начал мотать телом так, как это делают неопытные люди, шагая по топи. Он шарил глазами по полупустому залу, ища знакомые горизонты. Ни вышек, ни колючей проволоки поблизости не было, и это раздражало. В лагере он говорил о насущном и произносил слова уверенно, спокойно, зная, кому довериться, и с этим знанием и несвободой вокруг Анатолий Кромов приобрел редкое качество - опыт доверия. Отсидев, он автоматически лишился этого блага. Тело его могло в поисках прописки пойти на все четыре стороны, а язык оказался скованным, взгляд - набитым жалким вызовом.

Накопившаяся в нем истерика, смешавшись с водой, поплыла:

- Отпуск, значит, получил? Рад! На тебя поглядеть, ничего больше на свете не надо. Радуетесь! Погляди на эти сытые хари... суки они, все - суки, суки, суки. Ничего от вас не хочу, и водки мне твоей не надо! Ничего не надо!

Нефедов вспомнил дряблые руки молодой женщины. Несоответствие существующего с желаемым начинало его раздражать.

Только из лагеря - и сразу в крик. Глупо. А парень по фамилии Кромов продолжал задыхаться:

- Слепые вы все, в шорах ходите. Лошади вы! Лошади! А я видеть хочу, зрячим быть. Я ничего не боюсь. Пусть сажают, пусть вышку дают. Мне себя не жалко. И вот что я тебе скажу: во всем виноваты коммунисты и жида. Понял?!

Нефедов понял: парень наверняка рехнулся в лагере. Голос этого Кромова разносился по залу, и жующий водку военный начинал прислушиваться к его визгливым выкрикам.

Парень выпил еще водки и, вцепившись одной рукой в рукав нефедовской куртки, завыл:

- Я рад, что сидел, рад! Вот ты, ты, например, думал, что люди не растения, вросшие корнями в землю? Думал ты, что у нас делается, почему люди не зарабатывают как надо, живут как свиньи? И кто виноват?!

Нефедов освободился:

- Что сидел ты, знаю. Мне с твоим братом-зэком частенько приходится вкалывать. И все жалеют о лаге-

ре. И такие, как ты, и урки. Все жалеют. И болтливые, и немые до хмеля. Я без слов знаю: тебя за болтовню посадили. Вышел - так молчи.

Хмель одолевал парня: глаза косили, мышцы лица сильно ослабели. Он прохрипел:

- Сволочь ты, холуй ты...

Буровой мастер слушал и удивлялся своему спокойствию. Что бы он сделал несколько лет назад? Встал бы с грохотом? Помял бы парня? Или, может, чего похуже? "Попался бы ему не я, а вспыльчивый какой или, к примеру, гад... покатился бы назад за проводочку этот самый Кромов... А может, оно и лучше?"

За окнами стыл в темноте Нарьян-Мар. Где-то в конце пути было теплое море. То, что море могло быть теплым, - для Нефедова было странным, чем-то похожим на слова парня, на руки той молодухи.

Все же слова парня тревожно отзвывались в душе Нефедова. Они были словно произнесены на наречии, которым плохо владеешь, потому и приобретающем на слух особенную глубину.

Хлопнув странного и глупого парня по плечу, Василий сказал:

- Все, теперь точно на юг поеду. Погляжу. А тебе, Анатолий, дам адрес. Захочешь серьезно работать, приедешь и спросишь Нефедова.

Анатолий Кромов поднял усталые, полные взрыва чувств глаза на налитого силой, тяжелого, как конная статуя, человека, сидевшего рядом с ним; глянул, как на глухонемого, и махнул в отчаянии пьяном на него рукой.

Нефедов не любил несдержанных людей. Дав денег, он быстро расстался с парнем. Тот продолжал, держа наплевательски бумажки, до последней возможности крушить действительность, но уже невнятным бормотанием. Нефедову даже захотелось брезгливо отойти, но мысль не подхватила желания, а, наоборот, подсказала несколько бодрых прощальных слов.

В Ухте было совсем для него не холодно: мороз не был сильнее ни солнца, ни ветра. В буфете под прилавком были спрятаны от алчно-нищих взглядов бутылки прохладного пива. С каждым глотком в тело

возвращалась потерянная сила: всю ночь пил армянский коньяк и волочился за стюардессами.

- Вы - лучшая и прекраснейшая бортпроводница Союза. Я бы хотел вам купить шубу.

Нефедову казалось, именно так должны говорить привыкшие к богатству люди. Приземлившись ночью в городе, чье название его не заинтересовало, он купил еще один билет и полетел как будто куда глаза глядят - вышло, опять не на настоящий юг. Он снова говорил о шубах и продолжал пить коньяк. Теперь Нефедов, глядя сквозь серое окно на горы снега, окружающие лётное поле, думал, что глупо все-таки так и не увидеть моря. "Не за границу же еду". Но было в нем смутное и тяжелое ощущение, что существует черта, за которой живет другой воздух, более мягкий, более слабый, чем здешний, рождающий в человеке что-то цыганское. Было и другое: он себе не представлял до отпуска, что мир вокруг мог быть таким тусклым, люди - неинтересными, живущими вот так, в заботах, без яркости. Даже в своем недовольстве существующим они были медлительными, гугнивыми. И истерика того, ненавидящего все подряд, казалось, буксовала.

Груды снега были местами черными. Нефедов сердито отвернулся и сказал буфетчице:

- В отпуску я, понимаешь? Дай еще бутылку.

Пожилая женщина нырнула за пивом:

- На, лечись. Повеселеешь.

Глаза ее хотели как будто подмигнуть, но им, видно, для этого чего-то не доставало.

Пиво зашипело в стакане, быстро поднялась пена, и Василий Нефедов впрямь повеселел.

- А и правда, мать, что литру надо для похмелки, не меньше. Иначе душа на место не становится. Ожил, ожил. Спасибо. Скажи, в вашем городишке жить можно?

- Везде можно, только уметь надо. А из спасибо шубы не сошьешь. Ты что, в командировку?

- Я же сказал, что в отпуск.

- К нам с этим не ездят. Другое тут зарыто.

Василий рассмеялся. "Сегодня доверчивый - что дурной". Он до боли сжал мышцы рук и груди, захрустел, сильно вытянув руки, локтями, допил пиво и понял, почему оказался в Ухте. Витька Барабанов! Умный

и хитрый Барабанов, списывающий у него в техникуме контрольные работы. Витька, любящий читать... он пел тогда по любому поводу: "Тот, кто весел, пусть смеется: завтра - ненадежный дар". Так и пел, вертяка. Десять лет, наверное, не виделись, а последнее письмо получил от него два-три года назад.

Нефедов, отыскав в записной книжке адрес Барабанова, подумал: "Он тогда новую квартиру получил, о ребенке что-то писал. Поеду к нему вечером".

- Мать, какой нынче день?

- Что, не знаешь? Тогда действительно в отпуск. Суббота сегодня. Люди весь день телевизор смотреть будут.

Нефедов ей подмигнул:

- А такси в вашей дыре есть?

Буфетчица обиделась:

- Конечно. Есть даже кому тебе уши надрать, бугаю... допей-то, зря что ль поила.

"Хорошая бабка, хоть и сдачи не дала. Взяла за беседу".

Старенькая "Волга" гремела цепями, фыркала, как спокойно умирающее животное. Таксист, оценивший дорогое английское пальто Нефедова, бодрую мощь пассажира и в очередной раз собственную догадливость, тараторил:

- У нас командировочному хорошо, все для него есть, если подумать. Зима у нас похлеще, чем в Москве или Ленинграде, но зато воздух ухтинский для здоровья замечательный, и я знаю ресторан, где очень хорошо кормят... Я еще много разного знаю, вы только спросите.

"Этот тоже сдачу не вернет. Еще бабу предложит, козел... Раз выходной, так и утром можно заявиться к Витьке, лучше с коньяком".

- Где можно коньяк достать?

- Нигде. Но у меня есть, я запасливый.

Буровой мастер протянул заманчивую бумажку, и таксист, кинув руку под сиденье, достал бутылку.

- Мой тесть говорит, без коньяка коммунизм не построишь.

- А кто он такой?

Таксист посмотрел с благодарностью на человека, которого больше никогда не увидит:

- Шишка он и сволочь. Мне машину дал, потом свою дочь всучил. Он лютовал здесь, пока было возможно, тебе уж могу сказать.

Нефедов улыбнулся так, что губы не пошевелились:

- А почему вы думаете, что можете? Может, фамилию свою мне скажете?

Человек на глазах мгновенно сник.

Буровой мастер захихикал:

- Знаешь, таксист, я пошутил, конечно, но уж больно стара твоя хохма. Поделиться с пассажиром опасным анекдотом, врезать ему внезапно откровением, представить себя доведенным до отчаяния, сам, мол, готов в лагерь потопать, совесть, мол, на пределе. Лапшу на уши вешаешь неплохо; только я - стреляный воробей; меня, жидка, не проведешь. Пассажир должен испугаться и пожалеть тебя... страх и жалость - это хорошие чаевые, можно и вторую бутылку с тобой распить. А слишком испугается пассажир, так голову потеряет - и содрать с него можно и без чаевых сколько надо. А телегу кто на тебя покатит, так ты и так на кого нужно работаешь. Да и времена нынче другие пошли, запросто так не сажают; только пассажир не помнит об этом - привычка дрейфить глубока, ох, глубока. Только вот что я скажу тебе, таксист: устарела хохма, скоро бояться перестанут вовсе, а несчастным теперь только завидуют, несчастьем теперь от скуки-серости люди спасаются.

Нефедов заинтересовался своими странными мыслями: "Никогда на работе подобное не пришло бы на ум". Он вспомнил случай, происшедший в поселке, и рассказал его себе, пытаясь найти в нем новое значение. Таксист был словно отброшен за горизонт, стал маленьким, исчез:

- Один знакомый парень позабыл о своей матери. Как будто дело пустяковое. То, что происходит часто, всегда становится пустяковым. Когда он вспомнил о ней, оказалось - мать больную уволили с работы, и она в короткий срок, но все же очень трудно умерла от недоедания и сильной грязи в каком-то казенном здании. Когда парень пришел туда узнать, как и что, одна старуха, тоже умирающая, сказала ему: мол, сынок, не очень хорошо это убивать мать. После трех

месяцев запоя парня тоже уволили. От самогона он та ял свечой. Хотел, в общем, выжить, бросить зелье, но никак не мог. Он говорил, к нему мать приходит, пить заставляет. Что она, мертвая, сильнее, чем была живой. Так и говорил всем: "Знаю, это мать мне мстит. Ждет". Так этого парня не жалели, ему завидовали. И помогали кто рублем, кто стаканом добраться до матери... или матери побыстрее дождаться сына. Да, люди с жадностью смотрели на парня, слушали его. Они не забавлялись необычной для них завистью. Они искали в себе что-то позабытое или сидевшее в них от рождения, но так и не сумевшее пробиться к чувствам, ощущениям всяким нормальным. Но что? Безнадежную любовь? Душу и совесть, не боящиеся смерти? Красоту искупления греха?.. Почитали бы лучше Есенина, чем время тратить, копошиться. Э, да ты сам себе врешь, увливаешь от самого себя. Ты тоже ему завидовал... этой гниде...

Затылок таксиста вновь вырос перед глазами.

- Приехали. Может...

- Нет. Сдачу до копейки выдай и катись. Не на того нарвался. Ты мне еще, блядь, предложи - да на куклу возьми. Знаем. Катись.

Таксист испуганно сжал в руке сдачу и молча, сгорбившись над рулем, уехал. Буровой мастер похотал ему вслед, радуясь, что обманул обманщика. Дом, в котором был прописан Барabanов, высился своим обшарпанным многоэтажьем надокружающими уютно-грязными домишками. Рядом во дворе старуха рубила дрова. Раскрасневшаяся, она казалась молодой. Дом был одним из тех курятников, в которых слышна болезнь соседа, в которых летом вода едва пробивается по трубам до второго этажа, а зимой замерзает вообще. Он был поневоле ветхим еще до своего рождения. Ведь чахоточные родители считают милым ребенком свое с рождения сморщенно-старое чадо. Иначе себя нужно корить и наживать лишнюю душевную беду. Да, как называют всякое дитя новым человеком, так и любое недавно законченное строение - новым домом, и этого вполне достаточно для желанья жить в нем. А на деле много разного на свете рождается старым, изжитым, вредным. Считать старое новым - опасная глупость, но обычная болезнь человечества.

Эти мысли уничтожили на мгновение в Нефедове радость от предстоящей встречи. Поднимаясь по лестнице, он думал, что в его рассуждения вкраплена большая правда.

Гусь лапчатый!

Сволочь речистая!

Душедырчатый!

- Пригульный красавец!

Они хлопали друг друга по плечам, спине до нужной силы. Весело-отчаянно смотрели в зрачки друг другу, на расплющенное отражение своих лиц, а руки сами по себе продолжали бить, сжимать ключицы, зная до точности черту боли, за которой оскорбляется и старая дружба. Нефедов был несравненно сильнее Барабанова, но сидевшей на диване хозяйке они казались равными. Ее только поразили слова, которыми они бросались. Подобные оскорбления, лишенные мата, употребляются при встречах тайными врагами; муж же и его друг обнимались как будто искренне. Она внимательно смотрела на приближающегося к ней Нефедова и, прочтя одобрение в его глазах, улыбнулась, польщенная. Неприятное ощущение от их странных слов и от того, что буровой мастер наполнял своим телом комнату, растворилось в желании быть красивой. Здороваясь, Нефедов протянул ей бутылку жестом, которым дарят цветы. "Обед будет без мяса. Не дам. Пусть Витька ругает. Этот кабан все уберет, до следующего воскресенья доставать не на что. Не дам. Господи". Она продолжала улыбаться, но глаза покрылись грустью.

"Несчастливая она, что ли, - подумал Нефедов. Жаль, милая и ладная, маленькая такая. Витька всегда кобелем был. Ну да не мое это дело, так и размышлять нечего".

Наступившее короткое молчание приятно растекалось, лишенное пустоты и неудобства, появляющихся обычно от того, что как раз из-за длительной разлуки и сказать нечего. Нефедов мягко, с веселой добротой, поглядывал на лица, немного морщил нос, и всем было в комнате ясно, что мог бы гость долго говорить, но вот не хочет, незачем - и так хорошо. Барабанов, увидев по прислушивающемуся выражению лица жены, что старина Васька побеждает, засуетился:

- Вот шляпа! Знакомься, это моя супруженька Танюша. В другой комнате дочка седьмой сон на том же

небе видит. А это, Тань, мой лучший друг Василий Алексеевич Нефедов. В техникуме, куда меня отец засадил, он меня не раз выручал, даже жизнь или, во всяком случае, целостность организма спасал.

- Брось чепуху городить.

- Не брошу. Жили душа в душу. Он Шекспира любил.

Нефедов недоуменно открыл рот, и Таня поняла: Витька его почему-то опасается.

- Что, не помнишь? Ты со мной даже о Гамлете спорил. А песнь твою любимую, что я напевал, так она же из фильма "Двенадцатая ночь" по пьесе того самого Шекспира.

- А-а-а, - облегченно и утвердительно вырвалось у Нефедова.

- Да вы снимите пальто и не слушайте, говорит что попало.

Нефедов с благодарностью посмотрел на Танин рот, тонкие бесцветные губы. Барабанов содрал с него пальто, толкнул к стулу:

- Не раздави. Мы с Таней поженились в Ленинграде. Я там ромбик получил. Таня - дочь профессора Немышаева, знаешь?

Нефедов ответил с большим уважением, в котором засквозила непонятная ему самому ирония:

- Не-е-т.

- Вот. Так что не матерись.

Барабанова густо покраснела, еще когда муж сказал об отце, но Нефедов этого не заметил и, приняв волнение дочери профессора за ее убежденность в его грубости, рывкнул:

- А я, блядь, мат забыл! Понял, ну?!

Выражение глаз Нефедова мигом напомнило Барабанову о свирепой и вместе с тем холодной ярости, живущей в его старом друге. Еще тогда, в техникуме, о Нефедове говорили: "Скольких людей защитил, а сам ни разу не сел". Когда он, Витька, отбил девушку у офицера - шпарил ей Есенина и Мандельштама - и его поймали трое звездопогонников, прибежавший на шум Василий затрясся, увидев разбитое лицо друга, но с места не тронулся, только сказал офицерам: "Неподалеку пустырь есть, окруженный забором". Виктор помнит, лицо Нефедова было при свете фонаря нерешительным,

словно хотел бы, но не может бросить товарища в беде. Офицеры поглядели, выпили водки и сказали не без смеха: "Чего лезешь? Ну, да ладно, зла не хотим тебе, даже уважаем, но за что боролся - на то и напоролся. Так уж повелось". И пошли с Василием к злополучному для них пустырю. Когда лицо друга покидало свет уличного фонаря, Витька увидел и запомнил зверя, подкараулившего свою добычу. И он понял причину своего тайного страха, внушаемого ему дружбой Нефедова. Василий был не только умным, но и терпеливым зверем - он шел не избивать офицеров, а работать, просто работать. Барабанова эта истина настолько потрясла, что после ему казалось: шел от Васи особенный, страшный и заманчивый, запах. Он чувствовал: мог, мог Вася с дружбой в душе наброситься вдруг и искалечить его:

- Да я пошутил, ты что, не понимаешь? Вот тип. Да садись ты! И лучше скажи, чего на мое письмо не ответил? Столько лет прошло.

- Врешь... Не столько!

Барабанов не удержался и усмехнулся:

- Недоверчивый ты человек. Член партии?

Нефедов удивился:

- Конечно.

- Я тоже. Так что верить мне надо.

Они оба улыбнулись диалогу-шутке и помолчали по-авгурски. Таня подумала: "Тишина, которую чувствуешь, а не слышишь,- враждебна".

- Ты, Вася, просто забыл меня. Я - нет, не мог. Ты где вкалываешь? Кем?

Нефедов нахмурился: "Не мог. Чего это он?"

- Вышкой предвожу. Вы здесь, в Ухте, малость добываете, а мы там по-крупному ищем. А ты? Инженер? Учитель?

- Нет, журналист. На радио работаю; вы трудовые подвиги совершаете, а я их прославляю. А Таня библиотекой городской заведует, ваш трудовой досуг облагораживает.

Зубоскальство Барабанова было трухлявым, беспомощным, да и Нефедов не любил наплевательского отношения к работе. Он часто повторял лениво-издевательски настроенным паренькам: "Не выгодно - не вкалывай, но над работой не смейся". И ему стало

неприятно; но в гостях, знал он, надо молчать или же произносить, если хозяева лично не оскорбляют, только более или менее приятное.

- Вот что, дорогие хозяева, поговорили, теперь надо за дело взяться. Ты хоть, Витька, и журналист, да моложе меня, а я еще и гость. Так что вот тебе бумажка - накупи чем городишко ваш подпольно богат - Тут Нефедов слабо улыбнулся. - Только воздуха не покупай. Таксист, что подвез, заявил: "Кислород у нас отменный". От лагерных погостов, небось, идет.

Барабановы переглянулись. Муж взял кончиками пальцев сотенную:

- На все купить?

Буровой мастер кивнул небрежно головой. Оба они, жена и Нефедов, смотрели с тем же странным для них напряжением, как Барабанов поправляет шарф и плохо открывает дверь: правильным движениям мешал затылок, ошущающий власть взглядов.

Едва дверь захлопнулась, они повернулись друг к другу, замаялись, неуклюже зашевелились. Она уже не могла разглядывать выражение глаз сидящего напротив нее рабочего с огромными плечами, в грязной рубашке и с грузными, мертво лежащими на ляжках руками. "Спросить, каким был раньше Виктор, что делал, с кем водился? Да ну, что может такой вот ответить". Таня на деле боялась откровенности: возьмет этот человек и брякнет всю правду. Знала, женился на ней Виктор из-за тщеславия своего непомерного; знала, мучается он с ней оттого, что для него каждый день похож на другой; знала, будет он мучиться и без нее, потому что умен и слаб, и знала, не сможет она без него жить, не притрагиваться к нему, не видеть его жестов, не наблюдать, как он, неистово возвышая себя проектами - написать, сказать нечто такое, что... - пятится, изворачивается еще задолго до принятия решения.

- Вы любите читать?

- Времени нет. Предпочитаю теперь слушать. И думать.

- А выводы делать?

- А что выводы? Они всегда готовы, их надо только вызвать перед тем, как действовать, вот и все. Почему вы спрашиваете об этом?

- Интересно. - Таня сделала вид, что прислушивается, не проснулась ли дочь. Решилась. - Почему вы сказали о воздухе и о лагерях?

Жена Нефедова всегда отмахивалась и презрительно фыркала, когда речь заходила о эзках. Ну, сел, ну, вышел, ну, сушеная картошка. Мастер, в общем, соглашался с женой: интересного было мало. Говорить о лагерях - все равно, что говорить о смерти. Жизнь-то хоть изменить можно.

- Потому что их здесь у вас слишком много. Я все время с бывшими заключенными работаю, знаю. Места неплохие, а для народа как прокаженные. Будто места нет в стране. Лагеря - как горе: разбросает - и не будет видно. А так - глупо ведь получается.

У нее задрожали губы, задергалось веко, худая и красивая шея изогнулась.

- Вы понимаете, что говорите? У меня дед, всю жизнь отдавший науке, в них погиб как собака. А вы...

Взгляд Василия был полон снисхождения:

- У меня тоже пара близких родичей в них сгинула.

- Простите, не знала.

Барабанова произнесла последние слова скороговоркой, бездумно. Она должна была бы считать этого человека дураком, хамом, не понимающим силу добра и мощь красоты. Таня этого даже хотела, но не получалось: мешали его сила и сидящая в нем почти осязаемая злая мудрость. Думать о нем как о ловкаче, всепонимающем мерзавце или как о трусе - было бы совсем ни к чему: он не боялся ни себя, ни других. "Витя скоро придет. Быстрее бы. Купит шампанского. Всего в <<Кулинарии>> у Клавки закупит. Где же он?"

Нефедов спокойно закуривал. "Сказать ему, что мне мешает дым? Но ведь это неправда. Да и сама ведь скоро закурю, после шампанского. Чего это я..."

- Знаете, у меня сегодня хорошее мясо есть, вчера достала. Вы любите толстые отбивные?

Ее ноги, выглядывающие из-под платья, были худенькими, усыпанными пупырышками. Хотелось укутать эти ноги одеялом. "Видать, мяса ждет, чтоб поест, - подумал мастер. - Щами брезгует, Витька тоже морду от гороха или пшенки воротил. Ей лучше для себя вот такой худобой быть, чем как все".

- Люблю. Я все люблю, когда голодный. Я вот теперь странничаю, в одних только ресторанах сижу, почти привык. Но ничего, вернусь к себе на буровую, снова научусь жизнь ценить. Вы когда-нибудь спали зимой на сене, еще пахнущем июльским дождем?

- Да вы поэт.

Буровой мастер самодовольно улыбнулся:

- Ну, какой же я поэт. Но есть у нас паренек, так он играет на гитаре и песни сочиняет. Вот, например:

Я с бутылкою родился,
Я с бутылкою живу,
Я вскормлен был из бутылки
И с бутылкою умру.

- Как?

Ей хотелось прижать пальцы к глазам. Почему ей предвиделась некая таинственность в обыкновенной топорности этого типа, как это могло произойти? "Я просто устала". Барабановой сразу стало очень скучно. "Где же Виктор?" Она пожалела, что сказала Нефедову о мясе.

- Хорошо, хорошо. Забавно.

- И я так думаю. Скажите, а как там на юге?

- Что на юге?

- Ну, куда вы посоветовали бы мне поехать?

Мысль, что они останутся до лета в Ухте, а этот вот поедет завтра - "Пусть уж завтра" - на любимый ею Кавказ, вызвала мгновенную душевную изжогу. Таня ощутила - этот человек ей опротивел.

- Лучше всего сейчас в Одессе. Еще тепло, чисто. Умное море. Только не знаю, сможете ли вы. Там как бы мир другой. Исконные северяне туда тянутся, но долго не выдерживают. Вы же, - Таня протяжно рассмеялась, - как медведи полярные. А вот и Витя.

"Все, еду в Одессу-маму, а оттуда можно будет на Кавказ махнуть. Хорошая она все-таки женщина. Витька знал, на ком жениться".

Барабанова хотела, как только вернется муж, показать надоевшему гостю кукольно одетую дочку и исчезнуть, уйти от лица, оказавшегося рылом, отбросить, не думать об уходящем разочаровании. Она с

едва ли не открытой брезгливостью поглядела на Нефедова.

Муж радостно вываливал на стол яства, показывая редкие консервы, колбасы, блестел бутылками. Мастер отвратительно присвистнул:

- Давай, Витька, давай. Устроим Сайгон. А то завтра светлое будущее.

- Что?

И в нее опять врезалось нечто покрытое тайной, но на этот раз она сумела мысленно выразить его словами: в простых людях лежит непростая простота. Мастер ей ответил:

- Ну, пир во время чумы. Понятно?

Барабанова осталась, показала дочку (гость отметил: "Ребенок, вероятно, хорошо питается"), нажарила мяса, выпила шампанского. Пока мужчины вспоминали - Нефедов все подряд, а муж выборочно, - она думала о разном народе, приходящем в библиотеку, о том, как она, будучи молодой и глупой, пыталась подсовывать людям нужные, замечательные книги, как медленно и поэтому сильно разочаровывалась: лица превращались постепенно в хари, они требовали про любовь или про войну. Барабанова хотела до слез обожать свою работу, давать людям прекрасное, а они на него плевали. Они естественно отказывались понимать красоту. Только тогда Барабанова стала, как многие, продавать на стороне редкие книги и объявлять их утерянными. Порой ей казалось: не она, а действительно народ засовывал за пазуху ненужные ему книги. Так закончилась ее юность, безверие закрепило тонкие губы, заметная вежливая улыбка превосходства, затвердела в глазах. Барабанова невольно передала ее мужу, она заметила это только сейчас, глядя на него пьяненького. "Слабый он, слабый... почему я так говорю?"

- Ты, Вась, любитель. Я же, пойми ты, профессионал жизни. Я ее знаю, голубушку, как облупленную. Ее надо математически высчитывать. Вот в командировке был, совхоз описал. Ну, чуть приукрасил. Получил деньги, поехал рыбачить на Печору, а совхозники, те послушали радио о себе, и им тоже хорошо стало. Да рассказал бы я им о них правду, они повесились бы или пили месяца два, не просыхая. Тот, кто по-насто-

ящему знает жизнь, должен делать так, чтобы всем было хорошо. А ты - наше вечное о конечной пользе правды. Не надоело? Вот что тебе скажу: энтузиазм к правде хуже всякого зла...

Таня словно слушала себя. И неожиданно налила и под одобрителный кивок Нефедова выпила залпом стакан коньяка. Она страстно искала в Викторе все (казалось, умершее в себе), а вышло - лепила его по своему подобию. Она уже знала, муж добавит:

- Народу трудно говорить и скучно слушать о непонятном. Нужно обладать большой силой разума, чтобы одолеть расстояние между привычным и малоизвестным.

Нефедов тяжелеет от водки; коньяка он выпил два стакана и отодвинул от себя бутылку сладкого и хвастливого напитка. Он постарался понять Витькины слова, но сразу с сильным пренебрежением отказался. "Выпендривается. Хочет бабе своей пыль в глаза пустить".

Ему стало жаль Барабанова. "Пузырь". Барабанов говорил, не чувствуя слов, говорил так, потому что умом только хотел себя любить. "Красивая пустая скважина". Жена как будто ничего не замечала, привычными движениями следила, чтобы дочка в соседней комнате не делала глупостей. Нефедову становилось нудно, как от долгого безветрия. Он сказал ей:

- Выпей.

Посмотрел на ее послушание, обратился к мужу:

- Ты жизнь знаешь? Ты ее видишь, взвешиваешь. А как рыбу ловят в мутной воде? На ощупь. Так и жизнь. Потроха лучше головы знают что к чему. Жизнь не для нас, человек, была сделана. Посмотри вокруг да закрой глаза, тогда и поймешь. Твои сложности - просто нытье. Я сам иногда... это самое, думаю, что главное - это найти. А находить, я тебе скажу, - это наше проклятие, хотеть знать все до конца - наша дурость, не верить в душу и совесть - наше несчастье. Я сильнее это водки чувствую, это так. Потроха не только для жратвы созданы, башка не только для мыслей, а вы этого не понимаете, не чувствуете.

Нефедов ударил кулаком по столу, с яростью извинился за нанесенный удар, броском воли поборол наступающий хмель, опрокинул стакан с водкой себе в глотку, сморщился так, что из щелей глаз брызнул

свет. Барабановой показалось: этот человек уже разносит все вокруг вдребезги, от его темного бешенства рождается ветер, а она в нем - симпатичный такой одуванчик. Но руки его стали обретать неподвижность, становиться двумя пятыми на светлой скатерти, и успокаивающейся жене Барабанова захотелось дотронуться до них ладонью. "А ведь он глубоко страшный, совсем непонятный. Он уверенно отрицает разум. Вот ведь".

Барабанов тягуче захихикал:

- Что ты там городишь? Ты где этой чуши поднабрался? Прямо мистик, прямо Ницше. У нас телеграфный столб - и тот качается. Я тебе говорю, что дважды два - четыре, а ты мне ведьм подсовываешь в виде души и совести. И это - ты?

Барабанова не выдержала:

- Не ведьм, а жизнь.

- Что? И ты туда же. Слышь, Вась, у тебя союзник нашелся. Вас послушать, так до премиальных никогда не доберешься, а зарплату придется калекам - героям войны раздавать.

Жена с неприкрытой неприязнью ответила:

- Не о добре речь, о жизни. То, о чем говорит твой друг, может быть, пострашнее всех твоих житейских расчетов.

Барабанов изумленно вскинул глаза на жену, встретил презрение, не понял его, перевел взгляд на Василия и вновь подумал: "Не простой зверь". Жена увидела по лицу мужа: "С лживым юмором увиливать будет. Как всегда".

- Да бросьте вы идеализм разводить. Заплачу. Тебя, Вась, научили в покер играть? А может, даже в преферанс?

Нефедов самодовольно усмехнулся:

- Выучился. С таким народом приходится якшаться, и не к этому привыкнешь. Я как-то в управлении даже у сволочи парторга полсотни выиграл, а он - ас.

Барабанова быстро оглянулась, невольно настороженно зыркнула на дочь, рисующую, сидя на ковре, каравеллу. Барабанова в детстве мечтала стать Колумбом, перестала, а привычка рисовать повсюду, даже на служебных бланках, штрихи гордого приключения осталась, передалась дочери. "Ничего не откроем. Ниче-

го". Она выпила стакан шампанского:

- А почему он сволочь?

Спросила и ощутила ненасытность к ответу. Ноздри раздулись. Буровой мастер удивился:

- Кто? А, не знаю. Все его так называют, а он ничего, нормальный. А что?

Не почувствовав разочарования от ответа, она смутилась. "Как в колодец на него смотрю. Глупо все это".

Нефедов играл азартно, часто рисковал; лицо его отражало силу карт, которые он держал в руке, будто забивал козла. Но ему везло, безудержно, хамски:

- Гляди, опять фуль, раздену я вас, товарищи.

В Барабанове все росла пьяная злоба, он сдерживал руку - хотелось швырнуть карты. "Ублюдок. Кто его приглашал? Заявился, корчит из себя. Падло".

Барабанов изменял жене часто. Он любил ее нежно, но без страсти, как любят прочную защиту от невзгод. Он не представлял себе жизни без уютного запаха ее тела; сладко-успокоительно было по-ребячьи устраивать на ночь крышу из жениной подмышки; слушая ее советы, снисходительно щуриться. Сила ума жены незаметно разрушила его настороженное внимание к чужому мнению, приучила ценить голое знание. Жена тихо говорила, и ее мысли, лишённые сомнений и теплоты, входили в него, и родными, своими их делал ее запах, смешивающийся с его собственным, тайным дурманом утверждающим: все это - ты. "Знание, облеченное в чувство, непременно погубит нерасчетливостью хозяина". Он был убежден: эта мудрость, которая спасет его не раз, принадлежит ему. Как-то, сидя у костра с рабочими лесоповала, Барабанов решил: "Людьми вертеть буду без злобы и недоверия". Он было отмахнулся от этой мысли, показавшейся ему банальной своей аморальностью, как кто-то заявил, что на поселковом продскладе крысы бежали как очумелые от муравьев, не успевшие бежать были съедены. Неожиданный образ издыхающей под муравьями крысы был невыносим. На лице Барабанова, вернувшегося из командировки, отметила жена, появилась новая улыбка, свойственная хитрым людям. Барабанов стал часто повторять: "Интеллект превыше всего". И при этом сильно подмигивал. Его вера во вредность чувств, постоянное усилие обрести

равнодушие начали приводить к истерике, к вспышкам ревности.

- Что с ним случилось? Все время кривляется, живет так, будто все время обмануть кого хочет.

Барабанова ответила сослуживцу мужа:

- Он уверен, что его все стремятся обмануть. Я, кажется, перестаралась.

А отцу отвечала:

- Знаешь, я ведь хотела ему помочь стать интеллигентным человеком. Что тут плохого? А он мои проповеди буквально понял, что ли.

- Я тебе говорил не выходить за него. Вы не пара. Ты искалечила его и теперь сама себя уродуешь. Уходи, все поправимо.

Она покачала головой:

- Нет. Он сам виноват. Слаб. Из таких только эрзац получиться может. Скажи, можно человека одновременно любить и презирать?

- Можно.

Барабанов, поглядывая на жену и старого друга, чувствовал прилив ревности, видел взгляд жены, останавливающийся на Василии с волнением, на которое он давно не имел права. От желания ей изменить, сегодня, с кем попало, стало приятно в груди. Он знал: после вернется нежность к ней, станет глупой ревность. Да и ревность ли это? "Она как снисходит ко мне, а с Васькой как равная. Чего он лопочет? Парень мать погубил? Алкашом стал? И ему завидуют? Вот, такое порет, а она слушает. Вон он, раздумывая над картами, кусает кулак, слюнявится. Но с Таней что? Глаза опускает, розовеет. Чушь. Какая чушь!"

- Чепуха все это. И покер надоел. Пойду проветрюсь. А ты сиди дома!

Дочка взглянула на мать. Та кивнула головой.

"Вот кто у них муж в семье". После выигрыша эта мыслишка еще более развеселила Нефедова:

- Чего ты убегаешь? Выпить еще есть, карты некрапленые, здесь тепло, мухи не кусают. Чего ты?

- Я скоро вернусь, подышу только. За тобой, бугаем, не уgonишься водку пить.

Одновременно с движением закрывающейся двери ее рука потянулась за бутылкой:

- Мне тоже карта не идет.

- А вам и не нужно.

- Почему?

Лицо Нефедова весело сморщилось:

- Хозяину не следует выигрывать.

"Он все понял. Все... И он не любит слабых. Даже не скрывает".

К ней пришло и ушло странное предчувствие. Тело на мгновение обмякло, вновь затвердело. Она увидела: он помрачнел, глаза потемнели.

- А почему все-таки люди завидовали тому парню? Почему?

- Потому что людям хочется необыкновенно страдать. Моя бабка молилась Богу, меня заставляла. Я не хотел, а она - подзатыльниками. От этого мучилась, но и светлеяла. На себя брала грех, чтоб меня спасти. Я так и не поверил в Бога, но что же из этого, она же верила в свое мучение, хотела его. Люди не могут без души, с Богом или без. Я так думаю. А душа-то сильнее всего себя показывает, когда свербит ее непонятное, которое не от настроения, не проходит, и оно не болезнь. Это не неизвестность, которую хочешь узнать, а непонятное, которое и должно им оставаться. Как говорится, во веки веков... Вот они и завидовали тому парню. Тот мучился без всякой красоты, они ему завидовали тоже без красоты, потно, харями, все выпрашивали подробности. А парень, худенький такой, остроносый, сидел, тянул водку, будто к мстящей материнской той самой груди присосался...

Наступившая тишина резанула по Барабановой пустотой. Она поторопила Нефедова:

- Да, да?

- А может, и другое было, я только теперь об этом подумал. Может, те люди искали свои грехи, свою мерзость в себе, пакость всякую - чтоб себя потом полюбить, пожалеть. Они, может, хотели, чтоб мертвая мать, ожившая в сыне, им простила - ты бы видела эти морды, подышала тем воздухом. Еще немного - все бы взорвалось в драке к чертовой бабушке, так они хотели. Могу дать еще одну версию.

Она положила руку на пальцы бурового мастера, маленькое белое пятно на темной коряге, шепнула:

- Но ведь все это ужасная сила.

Коряга ее погладила по волосам:

- Это обыкновенная сила, ты просто не знаешь. Всякий начальник должен ее знать; не знать, так чувствовать, иначе он - дурень, и рано или поздно будет ему хана.

Барабанова запрокинула в приятном содрогании голову, чтобы она закружилась быстрее. Из-под полуопущенных век она увидела стоящего на пороге вернувшегося мужа, подумала спокойно: "Сам виноват".

Барабанов весь ужин, весь вечер пил, не переставая, и зло высмеивал друга и гостя. Он выпрашивал у Нефедова, знает ли тот Хлебникова, Цветаеву.

Буровой мастер только ласково покачивал головой.

- Дурак ты, нич-е-е-его не понимаешь. Так и помрешь.

Покачивание не запнулось, не убыстрилось.

Когда Барабанов обмяк - уснул, Нефедов поднял, отнес и бережно положил друга на кровать. Как больного ребенка. Вернувшись к столу, пробормотал:

- Старое - новое, зависть к несчастью. Эх, простота, простота, налей-ка мне, простота человеческая, водки моей рукой и скажи мне моими мыслями правду-матушку. Не скажешь? Ну, тогда просто налей.

Выйдя из спальни, Барабанова прятала глаза.

- Вы его извините, сами знаете...

Нефедов беззаботно вертел пустой стакан:

- Знаю, чего там. Виктор, видишь ли, никогда не умел разговаривать со звездами. Когда подходил к реке, прежде всего искал брод. Такие люди всегда добро ищут, будто это предмет, и зла набираются, не находя его... Это не мои слова, один старый человек сказал. Запомнилось.

- А вы беседуете?

- Часто. Иначе душа высохнет.

Нефедов произнес эти слова без тени усмешки и с такой откровенной простотой, что в Барабановой проснулось давно забытое ощущение детского восторга. "Взрослые должны внезапно увидеть вулкан, океан, и очень редко эта дверь в чудесное открывается при виде ползущей по руке букашки. Да, сделавший со мной такое не может быть обыкновенным человеком".

- Вы совершенно не опьянели.

- Пьян, пьян, матушка, но закуска больно у тебя

плотная. А мне сильного хмеля сегодня и не требуется. Мне хорошо, этак тяжеловато-приятно, будто дом добротный, по-настоящему новый построил или настоящего врага свалил. И будто потолка над нами нет, одни звезды... Спит Витька? Тяжело тебе с ним. И ему с тобой. Я вижу, ты его не очень уважаешь, а он это знает.

Барабанова ощутила на глазах злые слезы и сказала со злостью:

- Сам виноват.

- Что ты его таким сделала? Сам. У него, понимаешь ли, все предпосылки были, так что себя особенно виновной не считай. Лучше выпьем за Витьку, хотя и поздновато для него.

- Скажите, вы его презираете?

- Да нет. Мы же с ним друзья-товарищи.

- Прямо скажите, прошу вас. Мне это нужно знать. Вы же все равно завтра завтра уедете.

Нефедов усмехнулся:

- А кто тебе сказал, что я завтра уеду?

- Нет, я не то хотела...

- То, то. Я тебя заставляю больше о Витьке думать. И о себе самой. Так всегда бывает в непутевых семьях: керосин давно разлит по полу, но его никто не чует, пока чужак искру не уронит. Я завтра уеду, сам так решил, но другой чужак все равно придет.

Их взгляды встретились. Он прочел мечтательную тоску по чему-то несуществующему, жадность странную... "Никогда еще баба не смотрела на меня так. Будто я не я и не человек другой, а надежда большая, что ли. А я не могу ее ни обнадежить, ни утешить, потому что во мне есть только я сам, больше никого и ничего".

- Скажите мне все-таки, что о нем думаете. Только ничего не выдумывайте, не приукрашивайте.

"Волнуется как. А, действительно, почему не сказать? Я в гостях, но ведь хозяйка правду желает. Ну что ж, врежу".

- Тужится он. Тужится, тужится, тужится. Таких уважать трудно, ты прости. Интеллигентом хочет стать. Раньше буржуи хотели быть аристократами. Я с детства люблю читать; искусство - свет, но рождается ли этот свет светом, добром. У нас принято считать:

интеллигент, настоящий, - непременно хороший человек. А я так не считаю. Повстречал не так уж мало интеллигентов на своем пути. Я не против, но пусть они будут на своем месте, а мы - на своем. И для меня, если хочешь знать, инженер не интеллигент, а образованный рабочий. А получается, что, как только один из нас получит образование, сразу его к себе причисляете, будто боитесь обеднеть. Но ведете себя, будто мы вам сто лет рубль должны. Или вы нам. Но у тебя это хоть естественно получается; ты, наверное, такой уродилась; вон у тебя папаша академик, а Витька тужится, себя корежит и не знает, дурачок, что все равно вы его к себе никогда не примете. Но мне его не жалко. Сам выбрал. Интеллигент как? Либо мужика-рабочего на пьедестал ставит, им любитесь, а тот сверху на него блюет; либо себя на пьедестал возносит, собой любитесь, сверху высокомерно поплеывает, а мужик-рабочий мимо проходит - ни его, ни плевков не замечает. А Витька ни то, ни другое, ни третье. Из мужиков вышел, к рабочим не пристал, а интеллигенция его не примет. Ты уж прости, не со зла, просто отмечаю. Думал над этим долго; было время, сам, наверное, тужился, да Бог спас.

На худеньком лице Барабановой глаза были большими и лучистыми. "Звездочка, прямо звездочка далекая". Мастер, отметив усиливающийся в ней хмель, подумал было о ней как о женщине, которую можно обнять, раздвинуть коленом ноги... Он ощутил живейшее к себе отвращение и тут же почувствовал сильную радость от этого отвращения. Взгляд Барабановой слегка потемнел:

- Вы могли бы меня полюбить?

- Да, конечно.

- Вы на меня неприятно посмотрели. Похабно. А затем соврали.

Мастер пожал плечами, сказал, скрывая охватившую его неловкость:

- Каков вопрос, таков и ответ. Чего терзаешься? Все вы бабы одинаковы: что умные, что глупые.

- Спасибо за комплимент. Я люблю Виктора и только его буду любить. Не думайте, что вы лучше его.

- А я вообще не думаю. Не для чего. Особенно

ночью. Увидишь, все образуется.

- Что?

- Все. Все само придет, надо уметь только ждать. Решение нужное придет. Не заботься о своем уме.

Барабанова грустно улыбнулась.

- Не умею не думать, а, право, жаль...

Улыбка сошла с глаз и губ. Лицо ее посуровело, ожесточилось:

- Я много думала о возможности что-то сделать для людей, сделать настоящее добро. У меня тоже в свое время были трудные отношения с народом: я его любила безоглядно, после презирала как не оправдавшего мои надежды, ненавидела за рабскую сущность, злобно издевалась над его тупостью, затем каялась, считая себя во всем виноватой. А теперь я знаю: не нужно интеллигенции и народу друг друга любить или ненавидеть. Не нужно вообще чувств друг к другу. Мы любим или ненавидим (или любим и ненавидим одновременно) наш общий дом - и этого вполне достаточно. Нам нужны деловые отношения. Не служить, а сотрудничать взаимовыгодно. Только тогда интеллигенция и народ добьются своего.

- Чего?

- Того, что им нужно. Свободы и благополучия.

Идея поразила Нефедова. Он с восхищением посмотрел на Барабанову, но покачал головой:

- Просто, как все гениальное. Но разве это осуществимо? Слишком уж красиво. Но все равно, за такое стоит выпить, надо всегда пить за безнадежные дела.

Лицо Барабановой вспыхнуло багрянцем, она сжала руки в цепкие кулачки:

- Нет, это возможно. Это возможно осуществить! Это случалось в разных странах. Не так давно в Польше. Если убедить в этом сто тысяч, как я, и сто тысяч таких, как вы, - представляете, что будет, чего мы сможем добиться? И это когда-нибудь будет!

Мастеру на мгновение показалось - действительно когда-нибудь будет, так сильна была эта женщина в своей убежденности. Видение умно-сильного людского потока, сметающего все глупо-невыгодное на своем пути, заставило его крикнуть от удовольствия. Но он все же вновь покачал головой:

- Надо радоваться, когда мечты осуществляются на четверть. Я рад, что заехал к вам, познакомился с тобой. Уважать женщину за ум, за силу ума и за веру во что-то настоящее - большая для меня редкость. Спасибо тебе. Не смущайся, правду говорю. Буду о тебе вспоминать не как о других.

Барабанова рассмеялась:

- Мне все-таки неловко... Но вы подумайте еще о моих словах. А теперь пора спать, я вам постелила на диване.

Нефедов уснул по обыкновению сразу. Спал без снов.

Утром Барабанов тянул из банки огуречный рассол, кривился:

- Ладно, сам знаешь, удерживать не буду. Но как мы вчера дали! Ничего не помню. Вы еще долго сидели?

Жена с подчеркнутой развязностью сказала:

- Долго. Философствовали о звездах, социологию не забыли.

Барабанов постарался скрыть вспыхнувшее подозрение. "С этим тупицей? А чего не с дворником? Чушь какая". Но он был рад, что друг уходит, как будто навсегда. Все же жена была в это утро удивительно другой: взгляд искрился, губы были полуоткрытые обычного. "Порочная какая-то". В Барабанове проснулась ненависть к Нефедову. "Уйдет он наконец!"

Мастер добродушно хлопнул друга по плечу, с уважением пожал руку его жене, взглядом показал, что не забыл ночного разговора и получил в ответ благодарность в ее глазах.

На улице он остановился, поглядел на старые покосившиеся домики. Дряхлая уже осень прогоняла с крыш недозревшую еще зиму ударами тепла. Снег быстро, грязно таял. "Но солнце - уже мачеха. На юге должно быть еще настоящее лето".

В Москве оно было ни блестящим, ни холодным, скорее сойно-добродушным. Бурная суета большого города быстро надоела буровому мастеру. И самолеты ему обрыдли. Он начал спускаться дальше к югу, сидя над родным перестуком рельсов. В купе критиковал Москву:

- Ничейный и всеиный город.

Но былое уважение к столице он сохранил. Кремль осмотрел, в очередь - на Ленина посмотреть - стал, но больше часа не выдержал. После пожалел, что не вытерпел, ушел пиво искать, но не очень, так, для спокойствия. В поезде играл в карты, всех поил водкой. Разбил морду шулеру:

- Вытащишь перо, кости переломаю. Не того обчистить-ошипать сел. Меня углы в законе еще не тому обучили. Вытри харю и катись.

В Одессе ослепительный желтый круг с золотом неописуемым в нем грел мощно асфальт, стены домов, тихо расплавлялся над головой бурового мастера. Все о Москве говорили, как о громадном универмаге. Нефедову с детства не нравилось считать лес дровами, реку - только водой. Одессу его спутники считали скорее не городом, а продолжением моря на суше. Несколько дней Нефедов шикавал: давал в ресторанах оркестру красненькие, посылал женщинам за соседним столиком шампанское, пытался говорить как белогвардейские офицеры, в гостинице заставлял швейцара себя уважать, раз привел к себе в номер баскетболистку, приехавшую из Омска на соревнования; будучи с ней, потосковал почему-то о жене. Баскетболистка мечтала выйти замуж в Европе, вот и сказала, что не может она с ним жить, ни тем более стать его женой. Он притворился огорченным и полдня был этим горд. В море плавал долго, до изнеможения, уходил до потери земли. Раз на рассвете пошел на ближайший мол ловить бычков. Солнце уже будило на молу кисло-сладкие запахи рыбьей смерти, кругом просыпалась смола, начинали дышать разбросанные повсюду кучи мусора. Крупноголовые бычки жадно хватили червей и беспомощно повисали. Нефедов кидал их через спину в одну из куч мусора. Глядел уже не на поплавок, а на лужи мазута. Повертел вдруг головой: "А что я, собственно, тут делаю?" И расхохотался долгим хохотом, настолько он показался себе смешным, окруженный мусором на этом молу. Он не бросил удилище в море, только разжал пальцы, и накануне купленная снасть упала и закачалась. Нефедов сплюнул. Ему нужен был не этот многолюдный юг, где все тлеет и воняет, а тот, где бы все

горело. Ледяную землю могла заменить только пустыня. И буровому мастеру захотелось, чтобы очищающий все горячий песок затопил город, оставив, пожалуй, нетронутым памятник дюку Ришелье. Нефедов поглядел на карту, выбросил чемодан, купил рюкзак, кеды и тронулся в путь. Он не пойдет с баскетболисткой вечером смотреть двухсерийный индийский фильм. "Пускай найдет себе мужа в Европе".

Г л а в а II

ТРУДНОЕ ЗАДАНИЕ

Неяркое солнце ходило лениво по линии заката, затем, плюя на ночь, поднималось, бледное, наверх. Для Владимира Березова полярный день был в диковинку. Задергивая шторы, угадывая свет, бьющийся в них, он с трудом засыпал, неуклюже проводил светлую ночь, вертясь на постели. Вставал мрачный, набитый тяжестью непривычного. От поселка в восемь утра отходили во все стороны к ближним буровым вездеходы. Скрипели унты о замерзший снег, искусственный мех одежды сохранял тепло ненадолго. В вездеходе приходила зябкость, хотелось толкать тусклый шар к зениту, неясному на небе, кажущемся твердым. Мечтой была кружка кипятка. Обхватишь ее ладонями, насыплешь чайку; прильнешь к парку дыханием, и нет более мягких и любовных мыслей к себе, чем в эту минуту. Порой Березов забывал, для чего прибыл в эту Тьмутаракань. Руки от лебедек переставали болеть и наливались силой, вечное латание насосов, закалив нервы, не злило. Буровые грызли вечномерзлый грунт. Все никак не удавалось отыскать богатство, рылись в мелких пластах, не пахнувших рентабельностью.

В поселке да по вышкам появлялись время от времени черные от слов бумажки, призывающие к незаконному. Они были то отпечатаны на машинке, то от руки написаны печатными буквами. Они восклицательными знаками орали о необходимости человеку защищать и бороться за свои права, о его праве не только на забастовку, но и на революцию. Слова были русскими, смысл же их был темен: то ли громаднющая глубина в них была, то ли невыкопанная могила. Поди разберись! Так говорили люди.

Однажды к четырем стенам громадного свежевывостроенного поселкового клуба были приклеены листовки. Люди читали, качали головой, смеялись, как над опасным чудачеством. Что они действительно думали о написанном - у людей не спросишь. Если спросишь, ответят то, что ты захочешь. Так думал Владимир.

Кусок бумаги, казалось, жег стены; быть может, и людей, глядевших на него, достигал невидимым, тайным для них самих огнем. Левая рука Березова взметнулась к листовке: сорвать, разорвать, нет, оставить улику! Правая рука схватила запястье левой, сжала, принудила успокоиться.

Березов ждал долго, никто не сорвал листовки. Только позже, предупрежденный им, пришел милиционер; не читая, сунул преступные бумажки в карман и равнодушно ушел.

Березову стало неизъяснимо грустно от вида глупой руки, сующей в карман милицейской шубы слова, значение которых он, Владимир, понимал. Автор тоже понимал, что его ждет... он был где-то здесь. Близко.

Управлению не хватало людей. В этих краях текучесть кадров никого не утомляла. Сюда тянулись романтики и жадные до длинного рубля. Жадность остывала на морозе, желание испытать необыкновенное уходило в повседневные заботы, часто - в стремление отбыть куда-нибудь туда, где над землей и морем дует теплый воздух.

Скакание Березова с буровой на буровую было естественным, но просьба устроить его в управление удивила завкадрами, пахнувшего на версту пониманием ответственности. Он говорил: "Мы делаем",- и добавлял: "Я отвечаю".

Погладив торчащие жестким ежиком волосы на голове, завкадрами хмыкнул:

- Ты что же, Березов, устал, что ли? К бабам да старикам просишься?

- Да я ненадолго. Передохну малость и вновь на буровую пойду.

Старик снисходительно усмехнулся:

- Ладно, посыльным будешь. А там поглядим.

А глядеть было не на что. Соглашайся с парнем. Или уйдет. Полтора месяца проторчал Березов в управ-

лении, все пишущие машинки перепробовал. Хотел еще раз, но понял: глупо все это. Не так нужно, не с того конца начал.

По вечерам и ночам, страдая от света, отдыхая от ветра, колющего гортань и легкие, Березов вглядывался, поедал глазами листовки. Он знал их наизусть до последней точки, до волнения уже нечужой руки, пытающейся где-то неподалеку сильнее и сильнее изменить почерк, линии и загибы букв.

Домик, в котором Березов снял комнату, принадлежал уборщице одной из поселковых столовых. Березов, чернявый, с ультрамариновыми глазами, нравился хозяйке. Ее мужик для женского ее непамятного сердца - уже вечность, как ушел на заработки, так и растворился в природе. Неохочее на вид до ласки тело гражданки Селивановой подрагивало, фантазируя, нагнетая чувство к жильцу. Уборщица Селиванова ждала с веселым вдовьим нетерпением, пока Березов выпьет. Дождь лас. Березов запил. Замахиваясь на невидимое всем зло, Березов, сидя за столиком в кафе "Победа", говорил темно и неуютно:

- Вопросы социализма нужно поставить ребром. Нечего именем Ленина покрывать все и вся; бюрократизм и его произвол...

Березова не слушали. Пиво подавали водянистое, но всех радовало присутствие за прилавком тарани. Хорошо чувствовали себя люди в прокуренном и теплом помещении кафе "Победа". Было тесно, ворчливо, пересуды текли басовито, без злобы или привета. Березов заводился на целый вечер, импровизировал как мог.

Парень в бушлате, подняв голову с залитого пивом соседнего столика, сказал:

- Медово говоришь. Хватит тебе тут мерехлюндию разводить. Шел бы себе, пока тебе тут не наломали... Хороший, хороший ты человек.

Шел Березов по поселковой темени нога за ногу, машинально повторяя: "В бушлате, парень в бушлате".

Гражданка Селиванова ждала квартиранта. В погребе были огурчики, водка. Весь дом ждал; эти стены ждали, добытые трудом... То было лет двадцать тому назад. Недоля ее с мужем толкала по всем сторонам земли, серой от недорода. Муж, обходительный, не умеющий грызть чужую кость, был скорее обузой. Тете

родной принадлежал этот дом. Но ноги у тетки неминуемо охладели, потому приняла она дешевую рабсилу. В тугой узелок завязалась и спряталась злоба на тетку, к которой никак не шла смерть. Поняла Селиванова: нужно помочь косою приласкать копеечницу. Приголубила тетю заботой, в баньке выпарила да возле студеного окна положила... Схоронили тетю просто и без креста. Подчас жаль было Селивановой, что мало мучилась старая. Время все же капнуло в злобу каплей признательности: хорошо вела карга хозяйство.

Место уборщицы в столовой было доходным. Виляя худосочным телом, ходила Селиванова между посетителями, пьющими из-под полы, собирала бутылки, подмигивала. Иногда до сорока рубликов в день выколачивала. Бухли сберкнижки. Ушел любящий глядеть на звезды муж в город. Может, потому, что смотрел на звезды, и не вернулся... может быть. Блудом Селиванова не увлекалась, иногда по бабьему делу склонялась к ласке, но степенно и без таинственности.

Брякнула калитка.

Пошатываясь, Березов прошел в свою комнату. Брякнулся в унтах на постель. Усталость вкрадывалась в каждую мышцу. Те слова, что он произносил... они давались с трудом, губы складывались для звука, будто камень лежал на языке. И звуки эти уходили, бродили по закуской и возвращались, давая впечатление, что гуляет он по не тронутому рукой человека лесу, где необычно для души все, девственно... и хочется хоть одно деревцо срубить. Потребность такая, хоть малость какую сгубить, пока от таинственности вокруг чего-то не произошло.

- Владимир, не нужно вам чего? Наливочки либо стопочки?

Необычайность ушла. Глаза раскрылись. Хозяйка, вертя худыми бедрами, подходила к кровати.

Березов сказал, смутно угадывая причину появления гражданки Селивановой:

- Простите, нагадил тут. Вы очень добры.

Он встал. Было темновато. Селиванова стояла близко. Все так, что нельзя было не обняться. Березов ее облапил, почувствовал дрожащую от волнения

потрепанную грудь, губы, пахнувшие потом робости. Стало немного смешно.

Но он постарался, забыв о себе, дать ей много любовного добра. Вероятно, получилось. Селиванова девичьи выдохнула:

- Ты хороший.

Хмель все не уходил из тела Березова. Ему до необходимости захотелось вновь очутиться в девственном лесу. Он стал говорить о свирепом очищении ленинизма. Спросил:

- Ты знаешь белявого парня в бушлате? Он у тебя завсегда, нынче в пиве спал. Я с ним сегодня немного погавкался.

- Не думай обо всем этом... да, знаю. Васьков его фамилия. Дизелистом работает. Кутит много. Щедрый. Откуда у него деньги берутся, Бог ведает. Да, мотоватый парень. И власть ругает.

Уходя в сон, Березов пробормотал:

- Интересно... очень интересно...

Солнце, освещая холодный мир неказистой своей желтизной, продолжало ходить, не ложась, по-над людьми.

Березов думал о парне в бушлате, о Васькове, и чем больше думал, тем сильнее его лицом овладевала гримаса скуки. Есть в этом Васькове почти осязаемое двоедушие. Наглость его глаз и их бессмысленная холодность выдавали блатного, только и всего. Недостаточность опыта и жажда действий смущали Березова. Он принимал желаемое за действительность. Слово "экспроприация" не подходило к Васькову. Да и незачем было экспроприировать, и организации не было... сидел где-то в поселке или его окрестностях человек, одна личность, калякающая листовки. То на машинке, то рукой. И пользовалась эта личность простой бумагой. "Что могло твориться в этом человеке?" - Березов, перечитывая листовки, часто задавал себе этот вопрос.

Березову с детства казалось, что его отец знал обо всем и всех намного больше, чем другие. Даже выпив, даже расхлестав обмундирование, отец оставался как бы застегнутым на все пуговицы. Березов с пятнадцатилетнего возраста стал называть отца не иначе, как "товарищ Березов", и часто повторял отцовские

слова: "Мы и в мирное время воюем". В отце была сила, выше закона. Но все же главным, самым важным было: "Отец знает глубже других". Сегодня он, Березов, знает больше, чем все вокруг. А ответить на вопрос, что делается в том человеке, пишущем листовки, было очень трудно.

Уходили дни, не кончающиеся ночью, а Березов продолжал топтаться на месте.

Он стал следить за Васьковым. Чтобы отвлечься. Чтобы жить. Березов ходил за Васьковым до одурения, до прелости в носках из собачьего меха. Дизелист кутил, пил до харканья кровью, пил надрывно, грозя при этом миру и человечеству. Движения Васькова были быстры, скупы. Костлявое большое его тело существовало в постоянном напряжении. Березов смутно понимал: жажда особенного бытия доводила Васькова до иступления.

Уборщица Селиванова, отработав свое в столовой, была вечерами подавальщицей в кафе "Победа". Васьков, скалясь, больно щипал ее ляжки. Березов со своего стола в углу видел, как Селиванова оборачивалась и в свою очередь показывала Васькову все свои мелкие неухоженные зубы. Березову гражданка Селиванова улыбалась, блудливо растягивая губы.

На дворе быстро теплело: в плохо отопленном помещении кафе становилось все уютнее, и доброта более явно, чем в дни стужи, где только волков морозить, оживала в глазах и похлопываниях по плечу. Немного времени улеглось на землю поселка с тех пор, как Березов получил по почте письмо до востребования. В письме был донос на него, написанный убористым почерком гражданки Селивановой. В нем более или менее складно описывались враждебные интересы, которые проявлял ее постоялец, к партии, правительству, товарищу Ленину. Донос заканчивался словами: "Гражданин Березов опасен, потому что скрывает свои враждебные намерения и не говорит о них, даже будучи пьяным".

"Вот дура, - подумал тогда Березов, - я же говорил, что имя Ленина запятнали, что необходимо для общего блага очистить и его имя, и ленинизм, а она поняла, что я проявляю к великому вождю нездоровый интерес. Впрочем, - Березов усмехнулся самому се-

бе, - у гражданки Селивановой, хоть она и дура, здорвая логика. Все же как интересны люди".

Когда ночью она пришла к нему в комнату, Березов получил странное удовольствие от ласк гражданки Селивановой. Она так же старательно любила его, как и писала на него доносы. В этой старательности Березов видел внутреннюю неосознанную опустошенность. Ему даже казалось: от домохозяйки пахнет, как от мертвой. Березов не мог не подумать, что не так уж в сущности и давно вот за такую бумажку, ею сочиненную, его бы сгноили или расстреляли. Подумав, Березов неожиданно себе ответил: "И правильно бы сделали!" Внешне получалось глупо: почему правильно, что государство его расстреляет за верную службу? Но в Березове уже давно жило понимание сути государства, которому служил. Раньше что-то мешало определению, толкало мысли, дробило их, запутывало. "Не та логика была. За верность нужно вознаграждать, за предательство - наказывать? Ничего подобного! Государство нашего типа обязано время от времени уничтожать не только заведомо невинных, но и верных ему людей. Чтобы сковать всех страхом. Бояться должны все. Такой механизм. Только примириться с ним трудно. Способен ли я на это? Вряд ли. А жаль".

Зима перед краткой весной набрасывалась на уже блестящие деревья. Мокрый снег вызывал в нем равнодушие к движению. Ответственный перед человечеством за свою работу завкадрами говорил Березову:

- В такое время товарищ советский гражданин любит сидеть по месту прописки.

Завкадрами произносил слова веско, грудной его голос дрожал. Он заведовал кадрами этого управления, и всем вокруг казалось, что этот человек достиг границ желаемого. Только жена да он знали, что он давно должен был быть начальником треста, быть может министром. Он был еще очень молод, когда один из бригадиров позарился... не на его тогдашнюю должность главного инженера, на его большую квартиру. Был донос, лагерь, работа бухгалтера. Была тактика: жить так, словно он незаменим. Он выжил, был реабилитирован. Тактика осталась, она въелась в кровь. В нем за все годы выгорели злоба да доброта, хотя многие считали добротой мягкое равнодушие в нем, родившееся не

от страданий, а от самоунижения - стараться выжить. По тактике говорил завкадрами дрожащим голосом; по тактике, ставшей тиком, взваливал завкадрами весь мир себе на плечи и равнодушно его нес. А слыл он чудаковатым, очень честным, очень добрым и очень суровым. Иногда, подвыпив, завкадрами пытался что-то объяснить человеку, ждавшему его много лет, - жене. Но старуха неизменно отвечала: "Не говори. Не нужно. Существует лишь то, о чем помнят. Я не хочу знать, чтобы помнить. Не говори". Старик умолкал и задумывался о безобразности жизни и об уродстве смерти.

Березов думал о скором полярном лете, и чем мягче становился воздух, тем зорче Владимир следил за Васьковым. "Зверь скоро вылезет из берлоги". Парень в бушлате в кафе "Победа" давеча крикнул, выбрасывая на стол пачку рублей:

- Последнее даю. Ничего не жалко.

И в порыве лихого веселья гаркнул бегающей по помещению, с кружками пива на подносе, Селивановой:

- Чего двигаешься, как жеребая кобыла? Тащи пива, много тащи. Жить будем.

"Бурный парень, этот Васьков, - думал Березов. - За такими илотами нужен глаз да глаз". Что Васьков - простой урка, Березов уже не сомневался: лезли из всех пор этого человека грязная непокорность, похабный вызов; весь его облик попахивал бунтом для себя одного. Но Березов уже не мог остановиться; он должен был действовать, добиться результатов. Он должен себе доказать... что способен не отступить, что нет в нем интеллигентской гнили, той самой. "Если нужно, я неделю следить буду".

Ветреного вечера воздух, наполненный влажными тупыми иглами, погнал жителей поселка под крыши. Дизелист Васьков, обретя в те медленно усиливающиеся сумерки особенно деловой вид, тянул необычайно долго пиво, постукивал озабоченно кружкой о стол и рано ушел.

Березов прошелся мимо домика дизелиста, заглянул поверх занавесок в окна. Сквозь милые, рожденные последними усилиями зимы слабые разводы разглядел мать Васькова, старуху с лицом человека, желающего

есть, даже пересытившись. Сидевший рядом с неизвестным остроносым щуплым пареньком Васьков показался Березову совсем неинтересным. Он снова посмотрел на старуху, зацепился взглядом за ее рот, окруженный крупными морщинами. Рот беспрерывно двигался, впадал, возрождался и словно глядел сильнее глаз жадностью, нет, ненавистью прямо на него, Березова. Губы, молодые в кольце старости, шевелились угрожающе. Березов это остро ощутил, передернулся, но продолжал смотреть как замороженный. Опасность близкая потеряла ему затылок.

Березов опомнился, отпрянул, зло сплюнул. "Тьфу, мерещится всякое, с этими падлами и сдуреть недолго". Но ощущение страха перед неведомой угрозой осталось. Колебание "уйду, не мое это, в конце концов, дело" растворилось в желании отомстить за все не уходящую слабость души. Березов стал терпеливо ждать.

Это было... да ведь совсем недавно еще. Была теперь кажущаяся сказочной Москва. Он шел по улице Зорге к деду в отличном настроении. Он был уверен: просьба его о переводе на другую работу будет удовлетворена. Ему вконец обрыдло работать с политическими, а многие ребята только об этом и мечтают: верный трамплин, особенно теперь, когда работа с ними стала сложной, двусмысленной, требующей многих талантов. А Березову она стала отвратительной. Он думал тогда: "Во мне слишком много знаний. Это моя беда". Тот, теперь далекий день, когда его выпорол отец не за чтение "Доктора Живаго", а за болтовню о Пастернаке в школе, был приятным воспоминанием. Отец был прав: "Нам нужно знать врага, но не помогать ему". Много позже отец добавил: "Даже когда мы открыто пользуемся врагами, когда награждаем их посмертно или даже при жизни, необходимо помнить, что они - враги. Именно понимание этого делает нас нами".

А как Березов вначале горел на работе: "Да, политические были для меня самыми интересными... субъектами. Потому что были настоящими врагами. Они хотят, настоящие политические, уничтожить существующую власть, государство. Ну, а с националистами легче, они самые чистые, самоотверженные, в общем не очень

хитрые идеалисты. Такие опасны только в периоды глубоких государственных кризисов. Они опасны, когда уже все развалилось. Да и то, они ведь не хотят уничтожить государство, а лишь отделиться от него, оторвать от него свой родной кусок земли. Цель древняя, и методы борьбы с ними старые, испытанные. А уж с культурной оппозицией возиться - как будто сплошное удовольствие: ей все кажется, с ней не в шахматы играют, а в поддавки... Но что же со мной произошло? Будь, Березов, честен с собой. Они все, суки, считают себя необыкновенными, исключительными. И ты - тоже себя считаешь. Они ведут себя нагло, гордо, презрительно, будто ты - жандармский офицер предреволюционного времени. И ты не имеешь даже права им доказать-показать, что знание настоящего и будущего принадлежит не им, а тебе... Да и как доказать, если во время обыска вынужден у них на глазах вытряхивать мусорное ведро, рыться в дерьме, ползать в пыли с кроличьими уже белками... Я понял свою беспомощность, вот в чем дело. Даже арест делу не помогает. Арест чаще всего избавляет человека, ожидающего ареста, от страха быть арестованным. И страх вытесняется в человеке дополнительной свободой. С этим ничего не поделаешь. Даже, казалось бы, добился своего: он раскололся... Но и это не спасает положения, потому что рождается обоюдное презрение. Твое - потому что он раскололся, его - потому что ты угрозами, шантажом или еще чем заставил его расколоться. И нет настоящей победы. Вот это и стало мне невыносимым. Хотя в общей полезности своей работы я никогда не сомневался. Ведь нет ничего страшнее анархии, а свобода, которую желает оппозиция, и есть анархия, поскольку государство, охраняющее установленный порядок, против этой свободы. Но я устал это повторять себе. Эх, поехать бы в заграникомандировку".

Дед, по установившемуся в семье обычаю, протянул ему стакан французского коньяка без закуски. Березов, не сморщившись, выпил его залпом, хотя ему в глубине души была противна эта комедия: вот, мол, Запад Западом, а мы, русские, такие есть, такими останемся и тем довольны. "А я вечером, старый хрыч, после ужина сяду в глубокое кресло, врублю видео, буду потягивать сигару, греть ладонями коньяк и тя-

нуть его до бесконечности". Дед продолжал носить свой генеральский китель, глупо выглядывший над комнатными тапочками; большой кусок стены уродовал бездарный портрет Железного Феликса, а в спальне вновь нашел с недавних пор свое место маленький и довольно удачный портрет Сталина. На диване под дедовыми грамотами сидела всегда на одном месте всегда молчаливая дедова любовница Таня, деревенская девка, следившая со спокойным обожанием за его жестами. Все, вплоть до слоников на этажерке, действовало на нервы Березову в этой квартире, но деда он все-таки любил: было в нем тупое и неистребимое сознание своей правоты, ему были чужды сомнения, непонятны попытки многих самооправдаться перед своим или общим прошлым. "Не человек, а бетон". Но бетон гибкий - дед пережил всех: как подчиненных, так и начальников своих бывших непосредственных. Больше: создал выгодные связи, остался в почете, скопил богатство. Березов иногда говорил небрежно: "Мой дед Фуше..."

Генерал в отставке хлопнул внука по плечу как будто добродушно, но удар был сильнее обычного, и Березов сразу понял: не радость, а неприятность сулит ему этот вызов деда.

- Садись, Вовка, садись. Поговорим. Отец твой в командировке, так что за тебя отвечаю я. Так вот, говорил тебе или нет отец держаться подальше от ГРУшников?

- Да. Но я не...

- Говорили ли тебе, что среди этой братии-шати поверье ходит: мол, мы служим стране, родине, а не власти, не партии?

- Да, что-то такое...

- А говорили ли тебе, что человек, посвятивший себя исключительно служению родине, есть потенциальный предатель?

- Не помню, но может...

- А дружен ли ты с Виктором Алексеевичем Каштановым?

- Да, замечательный парень, но он ведь наш.

Краснотой, признаком гнева, наполнилась шея старика:

- Наш - это я и твой отец. И никто больше. Наш! Господи, за что Ты меня караешь? Такого внука дать.

Наш! Много, ох как много хороших ребят, говорящих, а главное - думающих, как ты, "наш", оказались с пулей в затылке в негашенке. А Каштанов, "наш" капитан Каштанов пришел в контору из "аквариума", известно ли это тебе?

- Да, он говорил...

- Он говорил... Тань, налей нам еще по двести. Капитан Каштанов служил только Родине и по этой причине продал контору диссидентам. Все операции были им известны заранее.

Жар ужаса, похожий на внезапную страсть, овладел Березовым. Еще два дня тому он гулял с Каштановым в "Арагви", на глазах у всех изобретая витиеватые грузинские тосты, обнимался с ним. Не неприятность, катастрофа настигла и прикончила его, Березова, карьеру. Будущее оборвалось. Дед рассмеялся.

- Понимаю, понимаю, что в тебе творится. Но теперь времена не те, легче стало, легче. Я все устроил, обо всем договорился. Нечего тебе тут глаза начальству мозолить, поедешь в командировку, разумеется ответственную. И чтоб были результаты, кровь из носа... результаты, понял, результаты. По возвращении ты должен быть здесь на высоте. Поедешь на север. Вот тебе деньги и мое благословение. А теперь ступай к начальству да собирайся в дорогу. И помни - результаты! Могут ведь и не забыть твою дружбу с Каштановым, у меня в конторе не только приятели, а подчас и приятель хуже врага. И забудь, забудь наконец свои интеллигентские штучки. Я и отец, мы невечны.

Вечность. "Нет ее, стервы, а как будто вечность прошла с того разговора. Прав, всегда прав дед, во всем".

Он пялился на круглое солнце, подплывающее к горизонту. Земля крутилась, и ярко-желтый блин стал послушно отползать к середине неба, но был догнан и проглочен тяжелым снегопадом.

Ветер замер возле неподвижного Березова, следившего за появившимися и исчезающими в белом вечере фигурами Васькова и остроносого человечка.

- Не уйдешь, не уйдешь, - прошептал Березов, срываясь с места. Он шел за фигурками, ощущая в же-

лудке нервную пустоту, готовую наполниться яростью, страхом, яростным страхом - что миг подаст.

Вечер превращался в ночь по-глупому, с дневным светом повсюду, с теплом, несомым каждой снежинкой. Васьков с напарником ушли от глаз Владимира на самой окраине поселка, у стен большого здания без окон.

- Склад, - пробормотал Березов, доставая из-за голенища унта длинный охотничий нож, - склад, я так и знал.

Прежде чем прижаться спиной к стене склада, он напряг мышцы груди, чтобы почувствовать успокоительную сталь пистолета. Он двигался в падающей каше снега. Руки потели. Одно из век бесновалось. Дойдя до ворот склада, он столкнулся с возившимся над замком и печатями Васьковым. Уверенный, что дизелист сейчас достанет нож, Березов ударил его лезвием в пах. Падая, Васьков унес на землю открывшийся замок - и ворота, заскрипев под собственным весом, стали скользить к щербатым стенам. Показалось черное, резкое в падающем снеге нутро склада. Васьков попытался встать, но Березов поспешил ударить его ножом в грудь. Трудно умирая, сумел дизелист Васьков вытащить из-за пазухи свинцовую трубу-дубинку.

Березов быстро выпрямился. Это спасло его: нож подошедшего остроносого парня сумел только, разрезав одежду, уйти неглубоко в плечо. Остроносый торопился и потерял равновесие. Он тоже, как и Васьков, попытался встать и бороться, но сталь уже вошла ему в самый низ шеи. Он стал неживым быстрее своего друга. Так, что-то злое сменилось чем-то добрым - и все, даже удивление не сумело застыть на лице.

Березов, еще не осознав присутствия возле себя смерти, с мальчишеским интересом наблюдал, как из лежащих людей вытекала красноватая жидкость. Из остроносого она текла обильно, словно радуясь свободе. У Васькова она пряталась под одеждой, но Березов ее все равно видел.

- Хорошо, что тепло; славно, что снег: все покроет, все очистит, все опушит, - подумал Березов, усаживаясь по-турецки, воткнув перед собой нож. Пришло оцепенение. Мысли ушли в равнодушное время. Тело похолодело, ушло в некую живую смерть, в которой нет прошлого и будущего. И она тихой теплой

кровью так отличается от вот этой, лежащей рядом, ледяной навечно. Тело ничего не ждало, ни к чему не стремилось; пульс только сладостно существовал... Потому и дрогнуло тело так сильно, когда в него внезапно вернулись мысли. Они были о собственной мимо сегодня прошедшей смерти и о смерти, им сегодня данной этим вот валяющимся здесь бывшим людям. Березов стал резко икать. К горлу подступила тошнота. Чуть усилившийся мороз пощипывал щеки. Взгляд блуждал по снегу и трупам. Голос в нем повторял, что не имел он права так поступить, лишить жизни людей без причин, связанных с государственной необходимостью. Голос усиливал икание, кружил голову, толкал тошноту, кормил страх. С голосом боролась зависть к деду и отцу, никогда во время работы ни в чем не сомневавшихся. "И я должен стать таким. Иначе мне конец. Нам всем конец. Стране конец". А голос все повторял о неправимости случившегося. "Это нервы, я должен взять себя в руки. Чувствую все это. Но что... что я тут делаю на месте пре..." Недоговоренное слово мгновенно успокоило Березова. Вскочив, он объяснил себе: "Не беспокойся, это не преступление, это другое".

Вернулся Березов в домик гражданки Селивановой никем не замеченным. В комнате к нему вернулось покояство. Стены стали словно наступать и отступать, и раз ему даже показалось, что дверь больше не откроется. Он выпил залпом два стакана водки, протянул перед собой руки и подождал, мерно дыша, пока из них ушла мелкая дрожь. Зашивая куртку, смывая осторожно с себя засохшую кровь, свою и чужую, замазывая иодом неглубокую рану, перебинтовывая себе ровными движениями плечо, Березов думал о дизелисте Васькове. Ему было жаль, что его ранил не Васьков, а тот остроносый, ничего собой не значащий для него человек. "В сущности, - заключил Березов, - во всем виноват рот старухи". Не будь такого рта у матери дизелиста, не пошел бы он за Васьковым. Каким он станет теперь, этот рот? Да, не будь у матери Васькова такого рта... Будь она без рта.

Наутро, засунув за голенище унта нож, Березов отправился в кафе "Победа". Все говорили об убийс-

твах. Гражданка Селиванова бродила меж столиками, выставив посетителям припухшее от горя лицо. Это доставило Березову старое удовольствие: слушать домыслы людей и знать правду.

Старик, сидевший за соседним столиком, сказал:

- Ты чего лицом застыл, парень? Ты что, Васькова знал? Нет? А я его знавал. О нем горевать никто не будет.

- А что произошло?

- Тебе еще не сказали? Здешнего одного дизелиста и какого-то парнишку из соседнего рудника ночью порешили. Зарезали как баранов у склада мехчасти. Моторами или запчастями захотели торговать, деньга в голову ударила. Да кто-то их опередил и в ходе, так сказать, соцсоревнования перерезал им глотки.

- Глотки?

- Не все ли равно? - рассудительно спросил человек. - Васьков был зол на жизнь, а свое плохое настроение распространял на людей. Это ошибка.

Перед Березовым завитал рот старухи.

- А мать этого Васькова?

- Какая там мать! Детдомовский он. Рос как дурная трава. А старуха Ильинична, у которой жил Васьков, та теперь рада-радехонька. Постоялец жил - не платил, да и по пьянке бил-лупил. Не жизнь у ней была из-за Васькова, а мука. Вот я и говорю, что никто по нем плакать не будет. А как будто положено по-нашему, по-русски, пригорюниться да выпить триста. Старик покачал головой. - Давно у нас убивают и не упоминают упавшего добрым словом. Вот было время...

Березов не слушал. Он оглох, и глаза перестали видеть. Он обманулся или его обманули - все равно. Рот не принадлежал матери дизелиста, рот угрожал только Васькову.

Он встал, пошел, волоча ноги, к домику старухи. Разводов на стекле было много, хитросплетенный рисунок мешал всмотреться. Старуха пила из блюдечка чай, иногда притрагивалась к блестящему самовару. Руки у нее были темными; голова, повернутая в полупрофиль, позволяла разглядеть один глаз, мудро-веселый, полный накопленной жизни. Березов не понимал, почему испугался этой пожилой женщины, не знал, чего опасаться, какой силы... он только знал, что эта сила

заставила его убить Васькова и остроносого.

Он отвернулся от окна. В груди стало жесткокаменно; нож словно шевельнулся за голенищем унта, дал о себе знать ноге сквозь носок из собачьего меха. Березов громко сказал, вслушиваясь в силу своего голоса:

- Нервы. Все нервы. Начитался всякой дряни... Надо продолжать. Он где-то здесь. Здесь он, эта сволочь!

Он сел на край деревянного тротуара, сжал пальцами переносицу. Решение, простое и ясное, пришло мощно-радостное, как мщение за понесенное поражение.

- Черт! Конечно! Как я раньше не подумал! На всех вышках были найдены листовки, кроме одной, самой дальней. Там он, там! Среди работяг прячется. И допустил-таки ошибку. Они не могут без ошибок, правильно наши говорят. Он думал замести вокруг себя следы, а они и есть их отсутствие.

Неожиданно для себя Березов поднял голову к небу и с мольбой произнес:

- Сделай, чтобы я не ошибся. Сделай, чтобы он был там.

Березов, не снимая ватника, толкнул дверь кабинета отдела кадров. Старик сидел, как всегда ссутулившись, приподняв худые плечи. Он рылся в карточках, матеря безмолвно утечку кадров. Привычно ругаясь, он привычно оставлял ругань в себе. Заметив присутствие парня с наглецей на лице, он хмуро сказал:

- Стучать не научился? Распоясались. Ну, чего надо?

- Хотелось бы повкалывать на пятой. Устройте, а?

Старик взорвался. Чутье подсказало: можно, нужно раскричаться. Трудно нести ежедневно мир на плечах и отвечать за него. Так чего еще добавлять к нему вес стоящей перед ним наглой молодости. Не лучше ли отдохнуть безопасным криком?

- Ты мне, братец, осточертел, мать твою! То туда, то сюда! Я не намерен больше терпеть капризы всяких молокососов! Убирайся!

Березову стало немного жаль пожилого человека. "Два дня до смерти осталось, а все туда же, в начальники. И даже этой развалине власти хочется".

Завкадрами, переводя дыхание, смотрел, как парень спокойно усмехнулся и расхлябанной походкой пошел к выходу.

Старик некоторое время не мог собраться с мыслями. Стояла перед глазами эта усмешка спокойного, почти равнодушного превосходства. Он вспомнил: так в лагерях глядело настоящее начальство. Завкадрами поежился, еще больше сгорбился и, отогнав поспешно проклятое воспоминание, уткнулся носом в картотеку.

После ужина, когда он роботом проглядывал газеты, зазвонил телефон. В трубке раздался вызвавший мгновенную изжогу знакомый голос уполномоченного по району товарища Коряева:

- Добрый вечер. Есть маленькое дело. Приходил к вам товарищ Березов с просьбой... так вы уважьте. - Голос стал торжественно угрожающим. - Мы вам доверяем. И помните: государственная тайна. - Голос вновь принял дружеский оттенок. - Простите за беспокойство. До свидания.

К старику бросилась жена. Пораженная выступившим страданием на лице мужа, она замахала руками, словно пытаясь что-то остановить или кого-то отогнать. Завкадрами прохрипел:

- Принеси капли, капли принеси...

Ослабело сердце. Он думал, прошлое ушло, а оказывается, он ждал его каждый день. Оно пришло с этим мальчишкой, родившимся лет двадцать назад. Он это почувствовал; он вспомнил, но не внял предостережению. Он считал себя в безопасности.

Гебист сказал во время первой их-встречи: "Мы вам доверяем, но помните - вы только реабилитированы".

Он не посмел спросить, что значит "только". И вот этот паренек, этот малолетка пришел; пришел, растянул губы, и все вернулось... нет, не вернулось, кошмар никогда не уходил, взваливал ли он или не взваливал мир на себя. Бессильно время. Будь проклята жизнь.

Сердце все стучало, сильно и по-старчески неподад. Капли не помогали. Жена тряслась, думая, что

муж сейчас умрет, боясь будущего одиночества. Он искал, он бросился на поиск чего-нибудь сильнее страха в нем... К нему пришел голод. Жена в изумлении взирала, как муж бодро вскочил, как бросился на кухню, как стал пожирать все попадавшееся под руку. Старуха поняла: напомнить ему о его язве было бы теперь величайшей глупостью.

Вездеход мощно пер по рыхляющему снегу к самой дальней из дальних буровых. Водитель, человек неопределенного возраста - ветхие глаза, бодрый рот, красные щеки, то ли от водки, то ли от любви к жизни, - покосился на сидевшего рядом Березова:

- Чего башкой вертишь? Не терпится, видать, молодой ты еще, с юга.

- Москвич.

- С самого юга, значит. Порядков не знаешь. Нельзя сразу на дальнюю, без привычки. Теперь весна, а зима уже на посту. Тут так. Гляди, проживешь тут времени не больше, чем век у мошкеры, не ты первый. Все знать надо. Здесь особая жизнь. Можешь сгореть, замерзнуть, заболеть-сгнить, отравиться, ну, и, конечно, могут убить... всего не перечислишь. Но можешь зато вернуться домой с хорошей капустой. У Нефедова, бурмастера пятой, это часто бывает. Он - что надо. Но перечить ему нельзя - ломает. Куда тебя определили?

- Трактористом. Сказали, буду воду возить для буровой из ближайшего озера.

Водитель глухо расхохотался:

- Ближайшего... Как бы не так. Я бы с тобой не поменялся. Одного волки сожрали - трактор стал. Другого вода взяла - подскользнулся. Третьего баком придавило - чего-то чинить хотел. Четвертый по воду зимой пошел, так его только летом нашли, случайно, по запаху. Кто ж тебе так удружил? Неужто завкадрами? Ты что, мать его обидел?

Березов усмехнулся:

- Нет, не мать.

Он почувствовал уважение к завкадрами. Старик остался, несмотря ни на что, человеком. Не смог отказать, пусть страх его грыз, от мести. "Эх, на-

род". Березов отмахнулся от прошлого. Он приближался к цели. Там, впереди, скрывался от него государственный преступник. Яростное желание выполнить задание скрешивалось с обжигающим любопытством. Березов пощупал локтем пистолет, вспомнил о финке в унте. Найти преступника будет трудно. Он опасался, но уже по-своему любил ждущего его - он был в этом уверен - странного человека, зовущего людей на краю света бороться с самой сильной властью на этой планете.

Г л а в а III

ИСКУПЛЕНИЕ ГРЕХА

Провонявший людским потом дряхлый автобус тащил куда-то помолодевшего Нефедова. Для него начала осени не было, сухой свежий ветерок залезал под рубашку, от раскаленной жести над головой спускалась жара, сидевший рядом с ним совхозник говорил об обжигающих небо чебуреках, а главное - ощущал Нефедов в себе приятную пустоту, похожую на освобождение от непонятого, от чего как будто вовсе и не требовалось освобождаться. Это состояние, будто шум души прекратился, опьяняло изнутри. Хотелось петь. Он впервые обрадовался, что отдал жене квартиру. "Пусть сидит в тепле. Все равно нам не по пути. А то была б теперь со мной". В чебуречной пахло прошлым, автобус ушел дальше к горам, и Нефедов подмигнул ему. В светотени крымского кабачка на его улыбки никто не отвечал.

- Что смурные? А ну, кто хочет выпить?

Люди к нему придвинулись, но не повеселели.

- Да что у вас случилось, чума, что ли? Будто мамашу хороните.

Человек с лицом тракториста взял с нефедовского стола бутылку, долго пил, булькал удовлетворенно, косил глазами, словно следил, как вино спускается в нутро. Нефедов ждал ответа.

- Странный ты человек, ничего, ничего у нас не случилось, все в порядке. Просто курортный сезон кончается, ты последняя ласточка, отдыхаешь не после работы, а мы после работы - вот и все. Выйдешь и заорешь, что небо синее, а мне выпить хочется, а после надо до дому до хаты топать. Налей за рассуждение.

- На... неинтересный ты человек, серый, а места

эти таких рожать не должны, вон вино какое, искрит-ся. И теплое море можно услышать. И за воздух здесь плату можно брать. Ты что, исконно здешний?

Человек ответил с грязноватым смешком:

- Пальцем ты в небо попал, воздух продырявил. Здешних здесь больше нетути, в расход в свое время пустили. Татарва жила в этих краях. Понял?

Нефедов посмотрел на стены чебуречной, заказал две бутылки, сунул их в рюкзак.

- Мало ли кого в расход пустили; раз пустили - значит, за дело. У нас всегда за дело невиновных бьют. И правильно делают. И нечего зубы скалить. Надоели мне ваши дома. Не за этим приехал. Так-то, тракторист.

Глаза человека зажглись опаской, недоверчиво сузились:

- Откуда ты знаешь?

- В зеркало погляди, если в доме существует. Думаешь, я зря живу? А для чего - не твое дело. Покедова.

Нефедов спустился к морю и пошел, оставляя нарочито глубокие следы, вдоль берега. Вечером разжег костер. Вернулось бы к нему утреннее удивительное состояние, если б не подошли трое пограничников с овчаркой, потребовали документы, послушали повествование "дикаря" о севере, выпили украдкой вина, кивнули, как равному, бывшему старшине Нефедову и ушли без зависти на лицах. Собака не оглянулась. Звезды в ту ночь вновь были лишь мигающим узором, красивой млечной задумчивостью; костер притягивал мечты; свет от углей рождал мягкую грусть, неясное и глубокое убеждение, что придет день, когда надо будет умереть. Он представил себе сидящих здесь, на этом самом месте, татар вокруг костра, спящих лошадей. Нефедов мало видел в жизни открыто счастливых азиатов; даже те, почти свободно кочующие, как в древности, со стадами, были безулыбчивыми. Чего же их пустили в расход? "Время, наверное, такое было. Вот и все".

Все же было искренне жаль: он не может встретиться здесь, теперь, с татаринном и сказать ему, глядя на его узкое безволосое лицо: "Давай выпьем, чего там". Доставая из рюкзака одеяло, он улыбнулся и лишний раз порадовался: жизнь, в общем-то, хорошая все-таки штука.

С каждым днем продвигался буровой мастер все дальше по берегу. Кожа на лице шелушилась, спина как ржавела, но Нефедов только весело крутил носом, дышал, не мог надыхаться; заходя в деревни, покупал у жителей все лучшее, не торгуясь, не спрашивая ни названия покупаемого, ни места, где он находится. Милиция его не беспокоила, по лицу этого человека было сразу понятно: он не нарушает закона. Да и в его движениях чувствовалась привычка распоряжаться. Иной милиционер задумывался. Было немного удивительно: такой гражданин, лет тридцати с лишним, вот так "шастает дикарем", но не стоило свои эти мысли превращать в действие, могло это теперь выйти боком, либеральные времена пошли. "Возьмешь нынче какого-нибудь сопляка-засранца за жабры, а после самого на солнышко повесят сушиться, потому как сопляк вовсе не засранец и даже не просто сын, а сынок, и не просто, а шишки, и не просто, потому что не на ровном месте. А с этим и так все ясно". Но все же милиционеру по-человечески было более завидно глядеть на одного счастливого отдыхающего человека, чем на летние толпы. Эта зависть вызывала размышления. Сам Нефедов о законе не думал, милицию не замечал. Как все, он знал без думы: его, любого, могут взять и посадить. И совершенное или не совершенное человеком имеет к посадке лишь весьма относительное отношение. Он, например, честный человек, еще не сидел; возможно, не будет сидеть никогда, но это прежде всего дело случая, только и всего. Для него милиционер был естественной опасностью, не более. Ее можно было не замечать, а заметив, с удалью презирать.

Нефедов присел поесть невдалеке от странной турбазы: крохотная, окруженная скалами. Подошел больной походкой старик, посоветовал топать дальше, не задерживаться.

- Что тут, турбаза?

Старик усмехнулся:

- Да, но не ваша.

- Чья?

- Не ваша.

Нефедов, пожав плечами, заявил, что эта богдельня ему нужна, как попу гармонь.

- А лишнего спальмешка у вас, папаша, загнать не будет?

Покидая с удовольствием слишком тихое место, Нефедов шупал попку. Не оглядываясь, подумал над последними словами старика:

- Правильно, что не торгуешься, тут у нас все первого сорта. А богадельня-то у нас богадельня, только наоборот. Так-то.

Сторож-садовник схватил рукой свое плечо, разжал пальцы, погладил... ему хотелось себя сильно любить. От раздавшегося за спиной голоса его красные в прожилках щеки побелели и окаменели.

- Так. Значит, государственными тайнами торгуем?

- Тов-в-в-в...

Губы тряслись. Сторож незаметно для себя сильно помолодел - возникший из прошлого ужас был, как новорожденный.

- Тов-в-варищ полк...

- Что-о-о-о?

- Товарищ Березов, нельзя так шутить.

Приятно стареющий крупный человек сурово ответил:

- А почему ты знаешь, что я шучу, а?

И не выдержал, лицо его расплылось, брюхо запырало. Он мягко рассмеялся:

- Ох, Митрофанушка, ох, повезло же тебе. А если на молодого бы напоролся? А если я тебя вот так поднакрыл бы лет этак тридцать тому? В хорошее время живем. Я уже вечность, как в спальный мешок не залезал. Так что отделаешься бутылкой армянского. И помни: Березов все видит, все знает.

Добродушно хохотнув, он хлопнул сторожа-садовника по спине, ушел, покачивая головой. Старик смотрел ему вслед с пугливой злобой, зная: полковник Березов возьмет бутылку, а после все равно донесет. Не умеет иначе. Скалы теперь угрожали старику обвалом, солнце над головой было создано для падали. Сторож проклял парня, принесшего ему несчастье, и искренне пожелал ему как можно больше горя.

К началу ночи Нефедов спускался от стоящей на возвышенности "Чайной" к морю. Хитрый старикан, его ободравший, уверил: спальный мешок из гагачьего пу-

ха, и потому Нефедов предвкушал будущий уют его вольной жизни. "Под утро хлебну винца и застегну мешок. Пусть дует, пусть льет. Человек - он всегда может устроиться. Говорят вот и повторяют: человек, мол, не свинья, ко всему привыкает. Это-то правда, но правда глупая". В "Чайной" он старательно обмыл приобретенное удобство.

Свое отяжелевшее от вина тело Нефедов нес весело, вприпрыжку сбегая с особо крутых склонов. Так, с разгону, выбежал на дорогу, за которой блестело море. Мертвая вечерняя дорога была еще горяча под ногами; асфальт под звездами казался впадиной, пустотой; море же жило светом, таким же искристым и хмельным, каким был топтавший теплую пустоту Нефедов. "Я щас искупаюсь, влезу туда, а после - раз! и - лафа". Услышанный им сверляще-тонкий крик и увиденное мчавшееся на него белое пятно заставили Нефедова отскочить. Оно было чем-то сказочным, русалочным. В это мгновение он был готов принять любое чудо и поверить в него без малейшего усилия.

Она бежала, как все обезумевшие от страха женщины, плохо. Ее ноги путались, колени стукались друг о дружку. По-носорожьей мчавшийся за ней мужик старался схватить мелькавшую перед ним белую юбку, промахивался и, перегнав женщину, оборачивался, чтобы вновь помчаться катком.

"Нажрался, сука". Нефедов был разочарован, чувство ожидания необыкновенного сменилось отвращением. "Нашли место..." Только заметив стоящий в нескольких шагах на обочине тяжелый грузовик, подумал: быть может, перед ним не сцена ревности. "Шоферня, как говорят, она голодная".

- Ну, чего?! Что за шум?!

Носорог молча развернулся и помчался на Нефедова. "Ну, дубье". Он это подумал, легко отскакивая в сторону. Ударил шофера по лицу без злобы, целясь в подбородок. Не оглядываясь на упавшего, шагнул к белому пятну:

- В чем дело? Чего не поделили?

Появившийся из невидимого облака плоский месяц осветил их. Она шла к нему, тяжело дыша. "Молодая"

Как только преследователь рванулся к ее спасителю, Шубина остановилась, прижала руки к груди, по-

борола легкую тошноту и головокружение. В голосе и силуэте защищающего ее человека было столько неподчеркнутой уверенности, что ужас мгновенно повернул к ней свое второе лицо - ненависть. Удар был для нее сладостнейшим звуком, мгновением острого счастья - вся полнота ненависти сжалась в комок, словно родившийся вместе с ней на черный свет этого мира. Она шла навстречу своему защитнику легко, воздушной походкой, чувствуя отражение лунного света на белой юбке и кофточке. Остановилась, стала смотреть снизу вверх на большое лицо.

- Ну как? Порядок?

- Слава Богу. Я вам бесконечно благодарна.

Нефедов хотел насмешливо ответить: "Бог тут ни при чем, а из спасибо шубы не сошьешь", - и уйти, но ему помешало вдруг сильно задрожавшее в лунном свете лицо женщины. После Нефедов дня два урывками пытался вспомнить подробности произошедшей борьбы за жизнь, или, как он ее называл, дурацкой драки.

Шубина увидела вынырывающую из светлой темноты тушу пьяного шофера, услужливо согласившегося ее подвезти, нагло пристававшего к ней, рвавшего на ней рубашку, шептавшего: "Не уйдешь", - а теперь несущегося на нее с огромным гаечным ключом в руке. Он бежал на нее, не на стоящего в нескольких шагах ее спасителя. "Почему на меня? Это он, он тебя ударил". Эта невольная мысль обожгла ее стыдом, ударила грехом. Ключ все рос, все приближался. Ей было противно и страшно. "Он меня ударит, иначе бы не молчал. Он не пугает, он меня ударит". Острый ужас заполнил мир и жизнь до отказа. Ее вопль оборвался - лопата-рука спасителя отбросила ее в сторону. Сам ее спаситель не успел повернуться - огромный гаечный ключ ударил его в спину, опрокинул. Шубина услышала треск позвоночника. Убийца ударил упавшего ногой. Сам упал. Они вцепились друг в друга, покатались. Поднялся кулак и опустился, как кувалда. Голова пьяного шофера оказалась между асфальтом и кулаком. Шубина ничего не услышала, но скрывшийся на мгновение большой месяц сыграл шутку: она увидела в сгустившейся ночи труп, стоящего рядом ее спасителя и возвышающуюся над ним... огромно-толстую смерть. Отчетливо видны были лишь ее контуры. Жирное лицо будто хохотало, живот

трясся. "Она не скелет с косой. Не скелет. Как же так? И почему она над живым стоит? Я знаю, она не для него, для меня послана. Только я ее вижу, проклятую".

Когда она подошла, Нефедов оторопело смотрел в светлой темени на широко открытые глаза убитого. Шубина тоже заглянула: в них осталось выражение бешеной решимости. Полная спокойной деловитости, внушенной уже исчезнувшей толстой смертью, она сказала:

- Идем. Быстро. Никто ничего не видел, никто ничего не знает. Ты идти можешь? Как спина? Мне показалось...

Нефедов мотнул головой, будто выгонял кого. Ответил прерывисто:

- Рюкзак спас. Он ударил по спальному мешку. Но кончить хотел вас. Его знаете?

- Не знала. Идем. Быстрее, измазал он тебя собой. Море рядом.

Нефедов последовал за ней послушным мальчишкой. Улетучившийся во время драки хмель вновь вливался в него, но уже чугунной струей. Глаза закрывались, ноги путались, мысли останавливались. Он не смог остановить свое скатывающееся с кручи тело, рвал слабыми пальцами траву.

- Вставай, вставай. Могут наехать, увидеть, наехать, увидеть.

Шубина не просила, ворожила. Ее сил не хватило даже приподнять Нефедова; она тогда повернула к себе его голову, нашла губами его рот и оторвалась, только почувствовав просыпающуюся в нем жадность.

Он шел, опираясь двумя руками на ее плечи. Грузовик остался далеко за их спинами, а бездушная деловитость все не покидала ее; он же продолжал тяжело шагать, но существо его уже начинало освобождаться от случившегося там, далеко, на дороге. Слушая море, как раковину, Нефедов разделся, вошел в воду, плюхнулся. "Черт, как хорошо".

Схватив его одежду, она стала стирать, полоскать, сыпать на джинсы и рубашку песок, натирать, втирать; подол юбки Шубина придавливала подбородком. Спина заныла. Бабий труд остервенелый и его лицо, обращенное к ее голым ногам, позволили ей вновь ощутить себя женщиной. Она показалась себе беспомощной

в лунной темноте. И от того, что произошло непоправимое, ей стало тихо страшно. Страх был особый; единственным слившимся страхом она боялась за себя и за него, за их искалеченную теперь жизнь. Глядя, как он пытается бодро выйти из моря, как заставляет себя упруго шагать по песку, она оглянулась, посмотрела, держа джинсы в руках, в сторону... туда, потом на него, подходившего. Он большой, даже огромный, но та, что была над ним там, на дороге, гораздо больше, огромней, будет всегда. Куда бы он ни пошел. Куда бы она ни пошла. И Шубина решила: "Я все возьму на себя. Это я виновата. Стану между тобой и Ею. Не дам тебе страдать и бояться. Не дам". Она молча протянула ему выстиранную одежду и зарыдала.

Нефедов был сильно влюблен в свою бывшую жену, иначе не дал бы ей квартиру, судился. Он об этом подумал дважды - так сильна оказалась его нежность к этой плачущей на коленях женщине с некрасиво поднятой к горлу юбкой. "Бедняжка". Она зарыдала сильнее и неловко повалилась набок. "Надо что-то делать. Нельзя здесь оставаться. Еще чего, поднакроют".

Буровой мастер быстро оделся, обнял ее, поднял на руки и быстро зашагал вдоль берега. "Мешок не промок. Спас меня, дорогуша, теперь погреешь". Он шептал ободряющие звуки, обрывки слов, спотыкаясь, наклонялся к ней, пил ее слезы и тайно гордился этой своей выдумкой: пить слезы.

- Опустит, ты же устал.

Он был на голову выше ее. Она, дрожа, видела невидящими глазами муку на его лице, спокойную, даже веселую, чем-то напоминающую приговор, произнесенный ребенком во время игры в судью. Сама лунная темнота стала полна обреченностью, стала сильнее человека, его жажды жить и победить. Шубина одним порывом прижалась сразу лбом, животом, пальцами ног.

- Как тебя?

- Ольга Шубина.

- А я Нефедов Василий. Успокойся, все позади теперь. Только нужно уйти подальше; может, они там уже расследование начали. Ты знаешь, я не виноват, но они, сама знаешь, и на невиновного вину найдут. Ты... отпусти меня, Оля.

Она погладила по-старушечьи его лицо, все зная, все понимая.

- Что ты будешь делать?

- Еще не скоро рассветет. Если далеко живешь, у меня есть место для тебя в моем спальном мешке, только отойдем на несколько километров, но лучше, если б мог тебя проводить домой.

Она попыталась напряженно подумать: "Повести его домой? А если его найдут, тогда буду ведь сообщницей. Преступление. Он же совершил преступление... убийство! Может, оставить его здесь? Ничего не было, я его не знаю, не видела никогда. Но он же теперь знает, кто я! Я даже ему свою фамилию сказала... Дура!" Она затравленно огляделась. Он стоял рядом, большой, беспомощный, ненужный, одинокий, и отвращение к себе стало просачиваться в мысли, поганить чувства, тело стало как налитое нелюбовью.

- Идем. Тут недалеко.

Он шел тяжело и молча. "Как нагруженный грехом". Решение привести к себе домой Василия мучило ее. "Сволочь я. Он спас мне жизнь, рисковал своей, загубил себя, а я? А я ему свою жизнь отдам! А что?"

Отвращение к себе быстро исчезло, было вытеснено страхом. Поселок под еще сильным месяцем ждал их с тихой угрозой. Они шли меж рядами домов - и блестяще-черные окна брали отпечатки пальцев; собаки, кошки фотографировали глазами; двери, нарочито не двигаясь, допрашивали. А Нефедов не ускорял шага, молчал, ровно дышал. "Он не боится, ничего не боится, все в нем уже сожжено".

Она остановилась на пороге своего дома. Решительность и ощущение своей красоты возвращались к ней. "Судьба". Она не вздрогнула от скрипа ключа, открыла дверь, пропустила свою судьбу. Старик, читающий в кресле газету, снял очки и, прищурившись, удивился, встревожился:

- Здравствуйте. Оля, что такое?

Нефедов почти ничего не видел, он уже не помнил, как дошел до этого помещения. Сон валил его, выпитое сегодня и слабость, пришедшая после спада напряжения, становились с каждым мгновением все мощнее.

- Я тебе расскажу, дедушка, все скажу.

- Но кто этот молодой человек?

- Потом, потом. Подожди. Видишь, у него рука ранена.

Нефедов опустил глаза: левая рука от запястья до локтя была в крови. "Кто это мне содрал кожу?" Боли не было.

- Это ты об асфальт, наверное.

- Об асфальт? Ну да, конечно.

Он постарался вглядеться в старика, но веки прямо падали. Вдруг, неизвестно для чего, Нефедов сказал:

- Я бы хотел побыть один.

От этих слов глаза Шубиной набухли слезами. Она ответила неровным голосом:

- Я только тебе вымою руку, помажу ее зеленкой, перебинтую.

Он кивнул головой.

Старик Шубин ждал возвращения внучки с углубляющимся беспокойством. Никогда еще он не видел на ее лице странно-быстрой смены масок, за которыми застывало выражение упорства и покорности... "Во время гражданской войны у некоторых, когда их расстреливали, было такое выражение. Да". Ему уже были непривычны сильные ощущения; поэтому старику, после двадцати лет перерыва, пронзительно захотелось закурить. Он перелистал "Правду", отметил, что во Франции и Англии продолжались забастовки. Когда в комнату вошла внучка, старик подумал: "У нее глаза, как у Офелии".

- Он в моей комнате. Я буду спать пока здесь на диване. Теперь слушай.

Он слушал. Не выпрашивал подробностей. Не перебивал. Ни о чем особенно не размышлял. Только, узнав об убийстве, подумал взволнованно: "Он не похож на Гамлета". Ему захотелось это сказать внучке, но он не решился, хотя важность открытия была для него несомненной.

- Теперь ты понимаешь, почему я привела его домой, понимаешь, почему буду с ним?

Курносое лицо внучки пылало от большого лба, маленьких ушей до упрямого подбородка. "Танюша бы сразу лишилась сознания, а ее Степан сразу побежал бы в милицию донести. Оля не похожа ни на мать, ни на отца, скорее на брата Ивана. Да, дело серьезное".

- Понимаю. Так вас никто не видел?
- Никто.
- Ты уверена?
- Полностью. О чем ты думаешь?
- О том, что все может завершиться благополучно. И еще, что хорошо жить в Париже или в Лондоне, даже когда там забастовки. Я там бывал и хорошо помню эти города.

Она прижалась лбом к костяшкам сцепленных пальцев. Ей показалось, дед рехнулся от горя, волнения:

- О чем ты говоришь? Я, я не помню такого, ты никогда не говорил об этом. Знаешь, лучше...

Старик перебил ее:

- Оленька, я очень старый. Родился с веком и умру, наверное, с ним. Был на Западе, нэп тогда радовал людей. Урожаи отличные чередовались, я много заработал - золотых рублей. Я и уехал, гулял по всей Европе, но по глупости вернулся. Молод был.

Шубина взяла деда за руку, поцеловала в щеку:

- Почему же ты об этом только сейчас говоришь? Ты же не скрывал от меня своего прошлого, все рассказывал.

- Я хотел, чтобы ты знала истину, не была слепой, но не хотел, чтобы ты мечтала об опасном. Знание, соединяясь с мечтой, даже с мечтой о себе, вызывает необдуманные действия. Вспомни Ивана. После того, что теперь случилось, тебе необходимо мечтать. Я тебе как-нибудь все расскажу о Западе; там живут совсем не так, как тебе кажется. Ну, пойду спать. А ты перед сном подумай. Этот парень проходил случайно, случайно тебе помог, случайно сделал то, что сделал. В жизни такое случается чаще, чем тебе кажется. Да посмотри на него внимательно; он же простой человек, тебе не пара, ты со своим первым мужем больше трех месяцев не прожила. Почему? Ты же знаешь почему. Ты получила от меня знание, которое все его дипломы не могли ему дать, скорее наоборот. Подумай.

Ее большие синие глаза уперлись в выцветшие, когда-то такие же синие глаза старика:

- Нет. Он необыкновенный. Ты не видел того, что я видела, не слышал, что и как он говорил. Я должна его спасти; я чувствую, что полюблю его. И, кроме того, его смерть мне...

- Как его смерть? Он же живой! Ты устала, поси. Мы завтра поговорим. Мы даже не знаем, кто он такой. Может, у него жена, дети.

Старый домик пах ненавязчивой чистотой, ветер доносил раковинной бесконечную жизнь моря. Слова дедушки сделали дом странным. "Не я, он изменился". Храп, доносящийся из соседней комнаты, только усиливал метаморфозу привычного в непривычное. "Все нечужое, но как чужое". Храпел Нефедов грубо и ровно. Диван впервые показался Шубиной неудобным, кривым; испугавшееся сердце слышно билось; ее дыхание никак не хотело подстроиться к его храпу; голое тело под простыней стремилось к забвению не покоем, а движением. Все стало раздражать, даже плотная немота, исходящая из комнаты дедушки. "Нервы. Нервы!" Она сдержала крик, тот, который освобождает на короткое время. Заснула она с трудом, до конца борясь с приходящими к ней обрывками.

Дед не спал всю ночь. Он подсчитывал свои шансы освободиться от незваного гостя и к утру решил, что их очень мало.

- Здравствуйте. Пожалуйста, ваше имя, отчество?

- Сергей Сергеевич.

- А где Оля?

- В поликлинике. Она врачом в районной работает. Присаживайтесь, наливайте себе чай. Я хотел бы вас поблагодарить...

Нефедов дернул плечом.

- Ерунда.

- Но прежде я хотел бы узнать, кто вы, где работаете?

Старик был гладким, почти безволосым; перестиранные временем глаза смотрели со странным выражением. У Нефедова во время отпуска уже произошло столько необычного, что порой все теперь происходящее казалось ему несуществующим: он - там, на своей вышке, со своими людьми, а здесь - кино какое-то, театр, в общем брехня, либо с ним происходит нечто нефизическое.

Он еще раз посмотрел в глаза деда Ольги Шубиной и догадался: у них было умно-наивное выражение. "Нет. Не то".

- Работаю на дальнем севере. Владею буровой вышкой. Мастер я. Ну, почти начальство.

- Вы - член партии?
- Да.
- Судимы не были?
- Нет.
- Значит, отпечатков пальцев у вас не брали?
- Нет. Допрос окончен?

Нефедов видел: старику неприятно задавать вопросы. Но когда допрашивает человек, не обладающий на то властью, надо, необходимо властно прервать его: любопытным среди честных людей делать нечего. Правда, этот дед особенный, но все же... "Нашел. У него умно-кроткое выражение! Я раз такое видел у одного попа, подумал, это от блаженства. Было это под Иркутском. Он жил около своей заколоченной церкви. Блаженные недаром дураками слывут. А этот?"

Дед пил чай вприкуску, действовал кончиками пальцев, осторожно. Голос у него был мелодичным, чуть звонковатым. Он договаривал слова до конца, едва нажимая на ударение. "Будто ему век жить осталось".

- Я вас не допрашивал. Вы сами должны понимать, дело серьезное. Лучше, если следов совсем не останется.

Нефедова начинало раздражать невольно появившееся уважение к деду. Было ощущение, будто он нашел этого старика в каком-нибудь кургане. Он повысил резко. голос:

- Я вам сказал, что это ерунда. Тот шоферюга хотел изнасиловать вашу внучку. Он бы ее затем убил - не оставил бы свидетеля, и меня он тоже убил бы - тоже свидетель. Знаете, когда люди встречаются в таких условиях, выбирать не приходится: кроме смерти ничего не дано. Я кончил его случайно. Следов же в случайных драках никогда не остается - есть только свидетели. Вы что, в теплице жили?

Старик посмотрел на Нефедова взглядом, каким глядят очень старые люди не только на чуждые, но и на отвратительные им поколения. Ему захотелось как можно быстрее избавиться от молодого человека.

- Сколько вы собираетесь здесь прожить?
- Могу уехать хоть сейчас, если хотите.

Старик Шубин помахал сухими руками, защищаясь от обвинения, показывая, что не был правильно понят,

пытаясь отказаться от своего желания:

- Что вы, что вы, вы наш гость, вы спасли мою внучку, я вам буду вечно благодарен. Что вы, помилуйте.

- Не беспокойтесь, я вам заплачу, за комнату и еду.

Старик неожиданно грустно улыбнулся:

- Это вы не беспокойтесь. Я гораздо богаче вас.

Слова старика вызвали уважение Нефедова: мало кто вот так открыто хвастается своим богатством. "Нет, он даже не хвастается, не признается даже, просто уточняет".

- Тем лучше для вас. Но...

Шубин перебил его плавным жестом:

- У нас на юге сильны еще законы гостеприимства.

Опять раздражающий пластичный, не мужской, но и не женский жест.

- Я, видите ли, из кулаков и сам кулак.

Нефедов вытаращился:

- Ну? А я думал, их давно как перевели.

- Ошибаетесь. У меня виноградник большой есть. Только вот неприятности с властями, с вашими коллегами по партии, все накапливаются. Могут и арестовать. Вот в чем дело. Понимаете?

Нефедову надоело удивляться. В его глазах запрыгала усмешка:

- Мне и понимать нечего. Меня это не касается. Спасибо.

Он провел весь день на берегу моря. Было жарко, запахи гниющих водорослей приятно окружали Нефедова. Он собирал красивые камни, бил ими волны и чувствовал растущую от безделья хандру. Страх от вчерашней драки уже совсем растворился в нем, чувства в воспоминаниях напоминали мгновения, когда на рыбалке неожиданно гнула тонкое удилище рыба или когда на охоте приходилось бить по кабану дробью, а не жаком. Больше всего думал Нефедов об Ольге. Он несколько раз подумал почти по складам ее имя со сладкой тревогой. К нему возвратилась вся она, стоящая на коленях, сосредоточенная в ночной стирке, вся в шуме накатывающейся спокойной воды. Ее тело стало желанным и приятно недоступным. Особенно странной

была эта желанная недоступность - в нем не было жадности. "Пора домой". Ощущения были для него во время этого первого отпуска, проведенного не у матери, не на севере, не с женой, не так сильны, как впечатляющие, в общем театральными или туристическими. Шкурой он, правда, рискнул, но в этом ничего необычного не было: он ведь все равно отступить не мог, так что на юге или на севере... Нефедову стало тоскливо, душно. В нем просыпался буровой мастер, требующий работы, ответственности. Пусть на его вышке все будет гладко, но это желание было куда ничтожнее другого: чтобы на вышке без него не могли. "А вдруг без меня найдут?" Мысль показалась слишком несправедливой, и Нефедов в нее не поверил. Быть здесь, на юге, когда из-под проклятой земли, после долгих месяцев работы и поисков, фонтан забьется, взвьется, задирая восторженные головы, забывшие на минуту о деньгах...

Шубина нашла своего Василия медленно бросающим камушки. Они даже не долетали до воды. Жесты его были печальными, лицо строгим, плечи беспомощно сильными. Жалость зажала горло. Захотелось ранее неизвестным ей движением накрыть его голову какой-нибудь своей одеждой. Они сели на валун. Шубина посмотрела на спокойную приветственную улыбку Нефедова. Стало больновато-сладко.

- Расскажи мне про себя. Я же почти ничего о тебе не знаю. Вчера не успели, а утром не хотелось тебя будить. Ты всегда так спишь с откинутой головой?

- Всегда. С детства не приучен к подушке. А что биография. На вышке работаю, там, на севере. Бурю. Мастер. А раньше школа была, работа, техникум. Опять работа. Теперь на нефтяном заочном. Век живи, век учись. Может, и закончу, если время и охота будут. Раньше хотелось стать инженером; знаешь, смотрел на инженерство как на красивую вещь. Перестал. Но диплом не помешает.

Жалость от горла перешла в грудь, вонзилась, распространилась и стала нежностью. В наступившем светлом вечере профиль Нефедова был словно высечен из антрацита. Он сидел, но был все равно очень большим. Она, тонкая рядом с ним, знала себя его единственной защитой. Она видела его смерть. И она, Ольга

Шубина, его закутает собой, проникнет в его мысли, отнимет сидящую в них муку-тоску. В ней будет все, мертвящее в нем, а она даст ему взамен счастье.

Нефедов заметил, как грудь ее сильно задышала.

- Вечереет. Не холодно тебе?

- Нет.

- Я скоро, наверное, уеду. Загостился. Да и дед твой не держит меня подле сердца. Боится.

- Что ты, он ничего не боится. Он бывает часто осторожным, но, сам знаешь, иначе люди смотрят ко-со... И... никто ничего не знает. Только вот, говорят, что деньги... нашли. Не ограбили. Непонятно им. Понимаешь?

Нефедов усмехнулся:

- Да, что же, не додумали мы. Надо было еще карманы вывернуть.

Они говорили спокойными голосами, эха не было; короткий ветер редкими порывами дул им то в спину, то в лицо, относил слова в сторону моря. Лицо Нефедова еще черновато поблестело в сумерках и потухло. Шубина видела: стало цвета земли, скучной и родной. Она приготовилась, начала подыскивать слова, которые должны ему дать понять, что она ночью придет в его комнату; слова должны быть сухими, резкими, без хвостов. Но она не смогла себя убедить произнести нужное: "Я сегодня приду к тебе".

- Дед твой сказал, что он кулак. Почему?

- Потому что это правда.

Она наклонилась и поцеловала ему руку. Ладонь под губами напряглась. Нефедову в жизни разочек-два целовали руки благодарные за ласку бабы, одна в умопомрачении даже прижалась лицом к его ногам, чмокала щиколотки, держа руками пятки. Он в неудобстве смотрел сверху, не ощущал власти или победы, скорее ошибку в чем-то. Но не пытался поднять бабу с холодного пола, словно знал: не простудится она. Иначе бы поднял.

Ольгин поцелуй был ему неизвестным. "Извиняется, что ли?"

- Как так правда? Я думал, старик хочет от меня избавиться, вот и ляпнул, чтоб отпугнуть. Я и удивился нарочно, чего его обижать. А то у нас все наоборот: ведь только мертвые не обижаются, а вот принято как раз только о них плохо не говорить.

Шубина поспешно закивала, наклоняя все ниже голову, хотя в наступающей темноте он не мог увидеть ее слез. "Он думает только о смерти".

- Правда, правда. У нас до революции было много виноградников. Здесь хорошо жилось. Сегодня трудно в это поверить, но русские, евреи и татары шли друг к другу в гости, вместе веселились. Во время гражданской войны (я хочу, чтобы ты это знал) погибло двенадцать близких родственников дедушки. Все они были на стороне белых...

Она передохнула. "Горе горем перешибают, даже чужим свое, все дело в воображении". Нефедов молчал, а она уже не могла увидеть сквозь темень выражение его лица.

- Дедушка и его брат Иван в войне не участвовали. Дедушка перед самым приходом боль... наших все проиграл в карты: и деньги, и землю.

- Повезло ему, что проиграл.

- Да, наверное. Он сразу пошел добровольно работать на новую власть и заставил своего младшего брата Ивана сделать то же, а заодно и отдать то малое, что у него было. Дедушка рассказывал: Иван плакал, не хотел свое добро отдавать. Брат сказал брату: "Либо будешь без земли на земле, либо без земли под землей".

- Хорошо сказал.

- Да, наверное. После, во время нэпа, им удалось добыть себе земли. Ты знаешь об этом времени?

- Учил историю.

- Им тогда казалось, нэп будет длиться вечно. Дедушка знает виноградарство до тонкостей, у нас в семье виноградари становились от отца к сыну. Мы - старая семья. И дед Иван был знатоком. Достался ему в нэп плохой виноградник, выбирать тогда не приходилось. Он работал как проклятый и за несколько лет добился очень хороших результатов.

- У нас говорят, сделал из гов... дерьма конфету.

Шубина, уже позабыв, что хочет горем своей семьи притушить тайное страдание Василия, говорила срывающимся и воспаленным голосом:

- Да, наверное. И когда пришла коллективизация, дед Иван на этот раз не выдержал. Он не послушал де-

душку - тот вновь отдал землю и одним из первых записался в колхоз. А дед Иван стал защищать свой виноградник. Отстреливался из ружья; дедушка говорит, мелкой дробью было заряжено. Убили деда Ивана, а всю семью его отправили куда-то на север.

Нефедов деловито спросил:

- С концами?

- Да. Вестей от них семерых никогда не было. Погибли.

- Необязательно. Я многих таких встречал. Люди со временем привыкают к воспоминаниям. Люди меняются, воспоминания тоже. Для чего же возвращаться и проверять, правильно ли все? Вернуться, чтоб встретить родных, которые чужие, посмотреть на родную область... ее приятнее видеть во сне, чем наяву. Во сне она родная. А так что, приедешь, поглядишь и - на хрен она мне нужна, эта область? Так и воспоминаний лишись. Хотя, может, оно так лучше?

Оля сжала руку Нефедова:

- О хорошем только надо вспоминать. И те, которые любят, помогают забыть плохое.

Нефедов промолчал. Море, закрывшись от глаз темнотой, приятно шумело, будто что-то тайно буравило. "Работает". Ночь притаскивала с собой обрывки прохлады, и Нефедов шумно задышал, приподнял с наслаждением подбородок. "Нечего мне здесь делать. Пора отчаливать". Он себе лгал нарочито, чтобы подтвердить свое все усиливающееся желание обнять ее, придавить собой, не отпускать. Он подумал с жадной нежностью: "Поработать". Она была рядом, стоило протянуть руку.

В доме полуоткрытая дверь ее комнаты звала-скрипела. Нефедов не понял ее поцелуя, ни последних ее слов, но чувствовалось: она не оттолкнет. "Может, отблагодарить хочет? Ну и ладно. Что может быть лучше, чем отдать себя?" И все же он знал: не придет к ней в комнату. Мешал старик, не его осуждение или ревность - Нефедов бы плюнул весело на них, а его насмешливые взгляды, его покачивания головой, его старческое знание чего-то. Нефедов был уверен в ночном бдении старика, что тот до утра напряженно будет прислушиваться и как бы мыслью и слухом своим будет стоять у двери.

Она прервала молчание:

- Никто не знает, почему дед Иван не выдержал во второй раз, для чего пошел на верную смерть. И никто не узнает.

Нефедов подумал коротко и крепко. И решение пришло готовое, как кем-то вызванное:

- Тот первый, хороший виноградник, у него откуда был?

- Получил по наследству. От моего прадеда.

- Вот-вот. Было жалко, конечно, его потерять, но ведь он достался ему задарма, мог бы даже его в картишки продуть. А второй виноградник он своим потом полил, мозолями сработал, собой, можно сказать, он его сотворил. Не мог он его отдать, как родное не отдают. В него твой дед и впился намертво и до смерти. Я его понимаю, хотя, конечно, глупо он поступил. Об стенку головой не бьются. Себя ведь и всю семью погубил. Но красиво, ничего не скажешь. Очень красиво.

Шубина протянула:

- Красиво-о-о? Станный ты человек, Нефедов.

Он не ответил. Потому что странным себя никогда не считал.

- Ладно, идем ужинать, дедушка нас ждет уже давно. У нас будет кролик на ужин. Любишь?

- Люблю.

За столом старик похвалил Нефедова:

- Армянский коньяк? Однако вы молодец: даже я, местный, не мог бы его здесь так сразу достать.

Нефедов пожал равнодушно плечами:

- В людях надо будить либо страх, либо жадность. Я предпочитаю будить жадность: работа всегда будет лучше сделана. А жадность, она у людей разная. Я дал на красненькую больше, чем вы бы предложили, вот ваш гастрономщик и добыл мне литру, и хорошего.

Шубина рассмеялась:

- Видишь, дедушка, какой у нас гость. Он мне даже сказал: "Красота может быть глупой и что можно красиво собственную семью погубить".

- Неужели?

Нефедова начинали серьезно раздражать издевательская вежливость старика, сухой старческий голосок, жесты, никогда не переходящие в размах. "Этот у себя на груди рубаху не порвет".

- Ужели. Уроdlивость же может быть умной. Все вы мудрите. На деле все проще: мы не хотим быть некрасивыми и глупыми, вот и устраиваемся. Мне один человек сказал: люди любятcя вспаханнoм полем только потому, что без него не прожить. А что, разве красиво вспарывать земле брюхо? Я вот дырки в ней делаю, дерьмо ее на Божий свет вытаскиваю. Это умно, но уроdlиво; вот люди и придумали, что это умно и красиво, и любятcя. Человек не свинья, ко всему приспосабливается.

- Однако вы, молодой человек, не очень уважаете род человеческий.

- Почему же, уважаю; мне просто иногда жаль, что человек не может жить без счастья, все его придумывает. А оно вещь редкая, но все же обыкновенная.

Слова Нефедова ударили Шубину. "Без счастья... и работа ему не мила, сама жизнь в нем плачет... из-за меня". Лицо ее будто чему-то открылось, глаза покрылись вновь слезами. Мужчины, один недоуменно, другой горестно, удивились. Шубин понял, что теряет внучку, что ничего не может ее остановить. Его будущее горе ей известно, но люди, рвущиеся отдать себя в жертву, всегда беспощадны, особенно к тем, кто их любит. Старик был убежден: у сидящего напротив молодого человека нет души. Он вспоминал, но никак не мог найти в своей жизни случая, когда ему думалось подобное. У многих людей были черствые и испоганенные, искалеченные души; совесть у этих людей изуверски шептала, мычала, косноязычно орала, раскрывалась иногда во всем своем уроdlстве. И все же старик знал: таких сильных и без души людей он видел великое множество. "Может быть, не хотелось мне их замечать, думать о них. Они же, в сущности, неинтересны. Как камни. Не нужен Оле камень. И камень не может быть виноват".

Была допита вторая бутылка армянского и съеден кролик; на столе, как поразмыслил старик, остатки превратились в объедки, веселые коньячные пятна - в грязную и ненужную скатерть. Он поднял глаза на сытого Нефедова:

- Не испортился у вас аппетит? Это хорошо.

- А чего ему проваливаться?

- Когда на душе не очень ладно, бывает, и есть не хочется.

- Да ну? Тело, знаете, оно свой салтык живет, нас не слушается, иначе нас бы давно на свете не было. Говорят ведь: мать умирает, а сеять все равно надо.

- Вы бы сеяли.

- А как же.

Внучка произнесла вдруг резким голосом:

- Спасибо. Спать пора. Спать хочется. Спокойной ночи.

Но не поднялась со стула, даже погрузнела на нем. В старике запела надежда:

- А вам хорошо спится? Кошмаров не бывает?

Только тут Нефедов уловил в Шубине хитроумного загонщика. Мозг бешено заработал: "Есть ли у меня кошмары или нет?" Он ответил тихим голосом:

- Мне бывает трудно уснуть.

И сразу Ольге:

- Хочешь пососок? Я для тебя выжму из бутылки. Она бросила ненавидящий взгляд на деда.

- Да. Выжми.

И Шубин сдался. Он вежливо пожелал всем спокойной ночи и ушел, и дверь своей комнаты плотно прикрыл за собой. Уснул он быстро, спал крепко, как это часто делают люди после понесенного ими решительного поражения.

Можно обаятельно обезуметь. Нефедов в этом убедился. Не поглядев вслед старику, он просунул горлышки обеих бутылок меж пальцами руки и стал неподвижно ждать, пока, собравшись, капли не упадут в стакан. "Если начнут с правого горла, все будет хорошо". Он не увидел, из какого, задержался взглядом на Ольге. Лицо ее было, как давно обугленное. "Не прикуришь. Что с ней? Может, с левого капнуло?" Решив, что дело не выгорело, Нефедов осторожно прекратил баловство с бутылками. И, ожидая ее "спокойной ночи", вновь обрел неподвижность.

Она рванулась, обняла его - локти прижались к его шее, руки ушли далеко за его голову и там зажили сами по себе. Тело ее металось, словно искало, куда можно проникнуть, исчезнуть в нем. Ольга молчала, но он слышал рыдания. Она мотала головой над его головой.

Он не мог ощутить мудрости ее юродивости; в

беснующейся Ольге была тайна красоты безумия, но не было ее таинственной силы.

Дергающееся тело Ольги все продолжало с нарастающей силой искать на его груди волшебное заохлустье. Он с добротой испугался, сжал ее сильно, дал слабость пальцам, вновь надавил на ребра. Она вскрикнула, стала, как все люди сразу после боли, опустошенной. Нефедов с облегчением шумно выдохнул натруженный воздух.

- Ты мне сделал больно. Больно. Иди, сейчас приду.

Она вскочила, отвернулась. "Может, стесняется?" Нефедов не терпел сумасшествия. Но он хотел, несмотря на это и внезапную усталость, женщины. Хотел же он понятного, податливого, нормального. Чтобы после, ставшее легким, тело забылось, утонуло мягко; и голова на ее плече - нос вдоль ключицы; как в подушку - простую и небывалую. Потому что дышит человеческим теплом только для тебя.

Любопытство жгучее Нефедов чувствовал, но оно было горьковатым, как праздник, оказавшийся внезапно не совсем твоим.

Ольга вошла, белея грудью. Она возвышалась над Нефедовым, крупная, далекая, истеричная. Говорила, запрокинув голову... быстро вдруг обмякла, упала ему на грудь, стала маленькой, крошечной, ребенком-женщиной. После прошептала трогательно и нахально:

- Не думала, что мне будет хорошо, так хорошо. Уверена была, не будет. А тебе?

Он соврал:

- Хорошо.

Она куснула игриво его плечо:

- Только и всего? Знаешь, поеду с тобой. Куда ты, туда и я. Давно решила.

"Она решила? Ну что с ней делать, решила ведь. Влюбилась в меня, что ли?" Нефедов обнял ее не чтоб ласкать, а чтоб утешить:

- Птицы на юг летят, а ты, значит, хочешь на север. Там холодно, бедно, скучно. Подумай.

Привезти с юга красивую женщину, врачиху, показалось Нефедову заманчивым приключением. Он не отда-

вал себе отчета, что держит ее на своей груди, как больного пеленашку, руки покачивали размеренное тело Ольги, но им было не чуждо желание отбросить его в сторону, словно что-то фальшивое.

Вытянувшись около Нефедова, не касаясь его, невидимая, она заговорила:

- Хочу всегда быть с тобой. Я нервничала последние дни, столько нового произошло, неожиданного. Прости, знаешь, нервы. Вот и сегодня вела себя как дура, психовала. Со мной это бывает редко. Вообще-то я спокойная; не думай, что истеричка... Ладно. Скажи, работа для меня у вас там найдется? И вот что. Думаю, тебе уже хочется назад. Правда?

- Да.

Ее честность глубоко поразила Нефедова. Ему ясно показалось: не с Ольгой он лежал, не ее жалел неприятно, не она была с ним, не о ней он думал, не ее чувствовал. То в ней ее дед орудовал, калечил ее издалека. Теперь она освободилась. Для него, Нефедова. Он победил. Ему нужно было закрепить победу. Он притянул к себе Ольгу, ощутил в своих руках любимую женщину, нежную, радостно послушную, и страсть боролась в нем с нежностью, и длинное счастье пришло к нему.

Когда Нефедов под утро с неослабевшим дурманом в крови потянулся к Ольге, руки были уже покорны его новым чувствам.

- Нужно будет немного подождать. Надо уволиться, выписаться. Видишь, я не принцесса из сказок.

- А я вполне чувствую себя принцем. Только без квартиры. Отдал ее бывшей жене. Ты даже не спросила, женат ли я.

Она облила его светом взгляда:

- Зря не спросила. Раньше узнала бы, что квартиру подарил. А где же ты теперь живешь? Если в берлоге, стану медведицей.

- Полдома у одной вдовы в поселке снял. Вдов у нас там много, мужики долго на свете не заживаются; ну, и липовых вдов достаточно: более почтительно быть вдовой, чем разведенной. Но я в поселке бываю редко, все больше на вышке, на работе. Как же ты бу-

дешь там одна, среди чужих? Край суровый, люди грубые, даже беззубые норвят куснуть - иначе не проживешь. Но, правда, ты врач; значит, уважать будут. Людям нравятся белые халаты: чисто и умно. Пока не помрешь.

Шубина напряглась. Качнулась грудь. Со смертью была связана ее любовь к Нефедову, с видением в ту ночь. Новым смыслом оделась жизнь. В начале этой ночи готовилась отдаться больше той толстой смерти, чем Василию; шла, словно на святотатство; стояла добровольной жертвой; легла на Василия, как на жертвенный камень. Яростно молилась телом, неистовствовала. Почувствовав холод в нем - стужа шла как из мозга его костей, Шубина об этом подумала, возвышаясь над ним, как смерть тогда, - и ужаснулась. Он мог догадаться, узнать, содрать с нее тайну. И погибнуть.

Нужно было стать нежно-горячей, проникнуть в него. Когда молилась, просила прощения за любовь к собственной муке. Можно с грехом пополам нежить себя за самопожертвование, но не любить самопожертвование. Мешала нужным движениям, словам медленная судорога. А после вдруг отлегло, как роль впитала.

- Не надо умирать. Не говори об этом.

- Не шути так.

Нефедов пожал плечами.

ЗАБАСТОВКА ВРОПСКОГО

Неведомая болезнь въедалась в тело Семена Вропского, горячила щеки, упорно взбалтывала мозг. "Пусть уж будут небо и тучи цвета больничных простыней, туман вечный в глазах, привычка не думать... Поздно".

Завод уходил меж сменами в короткую дрему. Грязные цеха казались стройными в окружении искореженных дворишков. Вропского влекло к грусти, не к приятной мягкой слабостью, а к переходящей в озноб хандры.

Вропский по своей должности механика кочевал из цеха в цех, из смены в смену и везде видел новые лица своей старой болезни. "Довольные рабским существованием люди, счастье в глупом труде и умном безделье, пустота там, где человек борется с самим собой, уродливое спокойствие на бесправных руках". Думалось и повторялось: незнание лучше знания. Сердце ныло: "Поздно мне, дураку". Иногда Вропский изумлялся: неужели он действительно до смерти будет превращать в явь свои добрые сны юности?

Был день зарплаты, премиальных, квартальных. В мужских раздевалках было степенно, никто не торопился расходиться. Был день товарищества... когда один ставит другому стакан, закуску, когда соревнуются в великодушии. Только в такие дни они были на работе, как на рыбалке, на охоте. Уходили в прошлое и будущее слякоть домашних отношений, заводская нервная руготня, вонь столовки, водянистость пива в закуской и много другой ерунды, привычно житейской и время от времени опасно выскакивающей из ровного бытия истерикой пощечин, безумием драки. Бредивший нэпом старый мастер выражался: "Зарплата - это советский праздник всех святых". Была еще в глазах довольная собою хитрость. Семейные отбирали купюры из пачечки, прищуриваясь и облизываясь, себе на пропой и отдава-

ли заветные на хранение холостым; все знали: у заводских ворот ждали, страшнее всего на свете, истомившиеся по деньгам жены. Они, готовые на все, - не раз уже валялся у проходной с проломленной головой строптивый человек - будут требовать, обыскивать, отбирать у мужа радость забытья и похмельки для дома, детей. Набив полные карманы чужими деньгами, Вропский прошелся меж шкафчиков, меж скамьями, похлопывая знакомых и друзей по расслабленным плечам. Вропского Екатерина ждать у ворот не будет. Она нигде и никогда ждать не будет. Екатерина лежала дома кошкой перед телевизором. А Юшка? Вропскому казалось: он любит по-настоящему только ее. И было еще в нем сильнее любви, но живущее в ней кусающее прошлое. Шесть лет прошло. Тогда он глазами, белыми от ненависти и унижения, увидел Екатерину. Его привел к ней Сливин. Вропский не хотел его смерти.

Вропский поколебался: уйти или не уйти в воспоминания?

Из окон можно было наблюдать за далеким движением города. Ленты огней металась по нему, будто по всей стране, красивые, мощные. Он, Вропский, был всего лишь тусклой лампочкой в фонарике. Шум, огромный и спокойный, неслышимый, угадывающийся, назойливо проникал сквозь стекла и, казалось, расплющивался о голову. Он, страдая, отгонял шум.

Вропский часто после отбоя помешал свое художное тело у окна, смотрел, рылся в своем воображении, ловил фантазию чувств, старался описать, грызя огрызок карандаша, необыкновенно-свободные минуты своей сладко-странной тайной жизни, а также свое мнение о праве каждого на справедливость.

Днем на занятиях, на плацу, в карауле, исполняя должное, он не хотел видеть город, его дымное гигантское уродство. Там, вокруг заводов, снег был черным, злым для красоты. Батальон в обед шел к столовке радостно-шумный, но от свежего человека не могла скрыться скука-тоска, сидящая в глазах.

Только вечером Вропский оживал и уже во время вечерней поверки косился на подоконник. Все, кроме дневального и дежурного, ложились. Одни устремлялись

в сон, как в спасение. Другие притворялись, искусно похрапывали в ожидании дежурного офицера. Мгновения после окончания обхода - офицерские сапоги еще гремели в коридоре - сливались с движением тел, поднимающихся с коек. Дневальный, стоящий у тумбочки под красной лампой, с завистью ухмылялся. Двери поскрипывали, и там дальше, через дорожки, клумбы, проскальзывали причудливые тени. Исчезали.

В деревне одинокие девки радовались, услышав стук в ставню. Спешили. Бывало, крались, боясь разбудить черствых родителей. В тесной темноте сеней с упоением жили, маялись маятниками люди, не опасаясь на миг-час кто беременности, кто губы.

Вропский, презирая слегка спящих и сбежавших, осторожно вставал, священнодействовал, доставал из матраца толстую тетрадь, становился к подоконнику, глядел на мигающую панораму, на черноту, за которой было небо, и писал, писал обо всем, о чем кричали ему таинственные взбудораженные мысли. Перо скакало, превращая его скорбь и надежды в плоть слов, в начало действия, как Вропский любил повторять. Отойдя от подоконника, ложась, он никогда не задумывался, пахнут ли тщеславием им написанные слова. Они разрушали в нем обрывдые до тошноты образы, внушенные с детства властью, давали новое мироощущение, сила которого превышала все, до сих пор испытанное. Они давали и никогда ранее не известный ему страх, леденящий желудок.

Утром он был вновь обычным Вропским, солдатом, ждущим своей второй пары сапог. Со всеми, вопя, врывался в столовку, выхватывая ложку из голенища, бросался к столу. По средам после ужина он стремился занять хорошее место в клубе; там ему, как и всем, хотелось видеть чужие страдания, чтобы забыть о своих, и радости, чтобы представить их столь же яркими и значительными, как на натянутом перед его носом белом полотне.

Шли жесткие одинаковые дни; его танк блестел, должен был блестеть еще больше. Учения были редки, наряды в караул сменялись нарядами на кухню. Зимой уютно дремалось в теплой ленинской комнате под бубнение политдолбежки. Летом... в любое время года солдату хочется днем спать... солдат спит - служба идет.

И Вропский знал: если бы не его тетрадь, если бы не подоконник - распялился бы его рот среди бела дня от честных и потому непоправимых слов.

К старшине срочной службы Сливину Вропский относился разве что с легким удивлением: казалось странным, что эта глыба мяса и костей могла говорить. Когда из тонких губ, над которыми по-коршунски нависал нос, выходили звуки, образующие понятие, Вропский вежливо улыбался. Между ними - ни дружбы, ни вражды, так, равнодушные солнца.

Удивился Вропский: как-то вечером его вежливо пригласил к себе в каптерку Сливин. Старшина сидел в маленькой каптерке за большим столом цвета дерьма. Из воротника гимнастерки еле выглядывала бульдожья шея, глазенки резко подчеркивали громадность подбородка. Сливин осмотрел Вропского и, сморщившись, как это умеют делать дети, спросил:

- Ты кто на гражданке?

Мгновенная радость облепила мысли Вропского: неужели в мирную командировку пошлют? Огурцы бы посолить. Отремонтировать бы что-нибудь красивое, вроде хлеба. Казарму забыть, в наряд не ходить. Думать долго.

Счастье овладело глазами Вропского. Прошло несколько секунд, а счастье все оставалось ярким, все не обрастало привычкой. Но нужно было ответить, и Вропский прервал длинное светло-радостное мгновение своей жизни:

- Механик я. Незаконченное высшее имею. Пришлось уйти из института. Мать умирала. Нужно было работать, кормить да лекарства заграничные доставать до самой ее смерти. А после... вот.

Сливин прищурился, глазки его умаслились хитростью, нескладное тело утратило упругую деловитость и приобрело выражение пышного торжества. Не разжимая губ, смеясь всем лицом, он вытащил из стола толстую заветную тетрадь Вропского.

Вропский мгновенно убедился: тетрадь его, но все равно ему захотелось побежать, очумело заглянуть под матрац. И мысль пришла тут же, что Сливина надо, непременно надо убить. Взгляд попрыгивал убого по трещинам на потолке, пока к ужасу не подобралось пренебрежение: сидящее перед ним животное все равно

ничего не понимает, легко будет в сущности выпросить у него тетрадь ценой бутылки. Не замечая своей растерянности, дергающейся верхней губы, Вропский сказал:

- Да, виноват, старшина. Но сам знаешь, в тумбочке оставишь, сопрут ведь. Вот и пришлось в матрац засунуть. Ладно, как говорится, не буду больше...

Семен протянул руку к тетради. Сливин не пошел велился - только лицо засмеялось сильнее.

Только тогда Вропский почувствовал нависшую над ним беду бездольную. В груди стало пусто, глаза будто забыли видеть. Рука опустилась и сжала галифе до белизны в костяшках пальцев.

При первых звуках голоса Сливина он судорожно задышал: понял, ему осталось только ждать и соглашаться.

- Вот что, - сказал старшина роты, - ты, как я вижу, парень хороший, серьезный, а главное - честный. Ты против своей совести не погрешь. И профессия у тебя нормальная. Выслушай меня, а там как ответишь, так и будет... я неволить тебя не стану... У меня в селе девка была... еще есть... хорошая девка, добрая. Но мне вот через двенадцать бань дембель подкатит, а она, Катька, взяла и забрюхатила. Жениться я не могу, не хочу в деревне оставаться... в город хочу, прописку в городе иметь, чтоб все шло по моей мечте, как положено. Но и оставлять ее так запросто с ребятенком не могу, человек я... Не знаю, за кого ты меня принимал и принимаешь, но одной странички твоей тетрадки тебе хватит, если дяди из трибунала будут в клевом настроении, на годиков пять, а то и семерик отхватишь. Когда выйдешь - не человек уже будешь. Женись на Кате, прошу тебя, как человека. Всем же хорошо будет. Мне, тебе, ей, и у мальчика отец будет. Когда распишешься, тетрадку верну. Слово даю. Оно у меня одно. Выбирай.

Вместо отчаяния Вропский ощутил отвратительное восхищение. Безумен художник, пытающийся написать пожар. Человеку доступно только поработенное им. Сливин инстинктом знал этот закон, а он, Вропский, забыл о нем. Нет ему прощения. "Проклятое хитрое быдло". Это восхищение в мгновение разорило ум Вропского. Упасть на колени? Вцепиться в горло старшине? Хотелось совершить все это разом.

Заболела рука, сжимающая ткань галифе, задергалось веко. Он кивал головой, припадочно потряс ею и вызвал из глубины своей опустошенности слово. Сделав больно виску, оно пропихнулось из пересохшей гортани:

- Да.

Старшина радостно и дружелюбно улыбнулся. Хлопнув одной рукой Вропского по плечу, другой он вытащил из кармана висевшей на стене шинели бутылку самогона, испорченными зубами вытащил из горлышка засаженный туда огрызок кукурузного початка, хлебнул и жестом, таким, каким начинают обниматься люди, протянул ее. Самогон, разжалобив тело, дал руке отпустить галифе и погладить колено, дал веку опуститься, закрыться. Старшина, не отнимая большой теплой руки с плеча Вропского, сказал:

- В воскресенье получишь увольнение. Пойдем в деревню, она в Березовке живет, тут близко. Березовка! Какие ж тут березы?! Гниль и гадость. Ты, Вропский, к нам на Ярославщину поезжай, вот где красота!

Вропский сказал себе с гнусным умилением: "Как он логичен, как логичен".

Сливин продолжал:

- Увидишь, она хорошая девка, наша, русская. И работать привыкла. Глаза у нее, правда, узкие: у них в избе, наверное, татарин или китаец за печкой сидел, да это, - Сливин хохотнул, - ночью не видно. Только вот что, Вропский, будь осторожен, баба она хорошая, но с норовом... часто про чувства говорит, любит это дело. Я тебя еще и потому выбрал, что культурный ты, не ляпнешь чего не надо, не испортишь каши. Смотри!

Сливин снял руку с плеча Вропского и потряс с угрозой указательным пальцем.

Последующие дни удивляли Семена своей никчемностью. Он не становился после отбоя к подоконнику, ночью подушка нудно грела щеку.

В субботу помкомвзвода назначил его на кухню. Старшина роты вычеркнул его фамилию из списка наряда. В воскресенье Вропский получил увольнительную. Выйдя за пределы военного городка, он остановился на перепутье нескольких дорог. Одна из них вела в Березовку, и у Вропского не было проблемы выбора. Он

пойдет в Березовку, в которой никогда не было берез, женится на девке, беременной от Сливина. Он шел, стараясь видеть не дорогу, а обочину и траву на ней. Шаги догоняющего его Сливина били словно сапогом меж ног, и острая боль в паху поднималась до груди, где, как он считал, обитала честь. Вропский, не оглядываясь, отгонял боль от чести, вызвал в себе свирепость... пришло желание, полное веселой истерики, броситься на Сливина, на эту гору мяса, и хоть раз ударить его кулаком. Мысль, что он будет выглядеть смешно с поднятыми беспомощно руками, заставила тело расслабиться. Но заигравшая в нем жажда насилия оставила след от несовершенного...

Сливин был настроен добродушно. Позвякивая бутылками, спрятанными в вещмешке, он сказал, нагнав Вропского:

- Не бойсь. Все беру на себя. Ты веди себя панинкой, рассказывай всякие красивые истории, а я буду сволочью прикидываться. Она баба понятливая, сразу по моей грубости поймет, что я гад или другую девку нашел. Она гордая, цепляться не будет. Я ей выдам сеанс! Для того, чтобы узнать, протух ли окорок, не обязательно съесть его целиком. Она сразу скумекает, что кукушка нам долго не кричала.

Старшина хотел всем добра, никого не хотел обидеть. Он испытывал от осознания своей внутренней красоты нескрываемое блаженство. Сливин, закончив необычный инструктаж, растянул в улыбку свои тонкие губы во всю длину и, замахав победно рукой, рявкнул:

- Ну, будь молодцом, шенок.

Он не должен был этого говорить. Он совсем не должен был этого говорить. Вропский повторил эти слова несколько раз и понял - можно было не повторять. Он тоже улыбнулся, странно для самого себя, с жестокой мягкостью. Но решение во Вропском было еще зыбким.

Село Березовка было четырьмя рядами домиков, окаймляющих две улицы, две неинтересные параллели. Дом Екатерины Горбаневской, женщины Сливина, был снаружи неряшлив, но комнаты были вылизаны до мешанского блеска. Родителей не было. Горбаневская

встретила их выпирающей от волнения грудью. Ее грубое молодое тело застряло в проломе двери; она изумилась неизвестному человеку. Наконец сообразив, что не будет сегодня объятий, ласк, женщина гордо вскинула движением крепкой шеи голову назад, чинно пригласила гостей войти в дом. Пока старшина разливал водку, Вропский расспрашивал о житье-бытье. Ответы были короткими: училась, росла в строгости и бедности, теперь коров доит, любит, правда, книжки читать.

Старшина сказал:

- Ты? Да ты читать не умеешь. Книжки! С тебя и навоза хватит!

Глаза Горбаневской наполнились слезами. Вропский, ненавидя себя, с дружбой в руке погладил ее пальцы. Хотел нарочито, вышло естественно. Вропский заговорил о гармонии красоты, описал Лаокоона, перешел на красоту любви. Катерина слушала с восхищением, все поглядывая со страстным желанием на старшину. Сливин, выпив водку залпом, грязно осклабился:

- Чего ты тут раззюжюкалась? - он быстрым движением поднял юбку Катерины. - Не люблю! Да и грязная ты! Снова, сука, не мылась?!

Вропский подумал: "Слишком грубо работает". Катерина сползла с табуретки на пол, сжалась вся, зарыдала.

- Ревешь еще, паскуда! Надоела ты мне.

Сливин мигнул озорно Вропскому, вышел, бухнув дверью, из хаты.

Вропский опустил на корточки возле Екатерины:

- Грубость слепа, а на пошлость у него пока ума еще нет. Не беспокойтесь. Все будет хорошо.

Она взглянула пугливо на дверь, недоверчиво поглядела на вежливое лицо человека, спросила:

- Ты что, его друг?

- Нет.

- Ты его не любишь?

- Да.

- Так что ж одной дорогой сюда шли? Шли врозь, а получилось, что вместе пришли?

- Да.

Ее серые глаза подобрели.

- Свинья он. Настоящая свинья. И знаешь, говори

мне "ты". Хорошо? И знаешь, я заметила: руки у тебя ухоженные. Ты кем работаешь? Откуда родом? Батюшки, из Ленинграда? И оттуда в армию берут!

Вопросы были те же, что задавал ему Сливин. Но глаза ее смотрели с несложной жалостью, простой вопросительностью. Вропскому захотелось ее зло поцеловать, чтобы ехидно отомстить тут же... Но кому?

Чай у нее был пахуч. И жесты у Горбаневской были по-женски гибки и милы. И сама она была пахуча. Вропскому было интересно, спросит ли женщина, есть ли у него квартира в Ленинграде. Спросила.

Возвращаясь в часть, Вропский спокойно смотрел на дорогу, на ждавшего его на полпути Сливина. До дверей казармы старшина, весьма довольный собой, терзал большой рукой худые плечи Вропского. Взъерошив ему волосы, как, это делают взрослые, довольные поведением детей, Сливин хохотнул:

- Иди, иди в свою библиотеку. Читай себе. Я устрою, чтоб тебя не искали.

Вропский страдал от ненависти к Сливину, но признался себе, что Горбаневская ему очень понравилась.

Старшина роты Сливин любил по ночам сидеть в своей каптерке и перебирать посылки. Даже не взглянув на фанерный ящичек, старшина определил по вкусу печенья: эту посылку получил из дома харьковчанин из второго взвода Бажанов. Куда мог солдат спрятать присланную из дома еду, не в тумбочку же... лучшие друзья этого Бажанова растащили бы все до крохи еще до вечера. Лучше дать сволоте старшине на хранение в каптерку... что-то съест, что-то и оставит. Сливин растянул щель рта. Жизнь в нем повторяла слова матери: "У нас дураков не сеют и не жнут, они сами родятся, помни об этом, всегда помни". Сливин вытащил из посылки Бажанова еще одно печенье и успокоил свою жизнь: "Не бойсь, я с другой стороны зашел; я - тут, а дураки - там. Я свое возьму, вырву. Я посылку дурака Бажанова полусъем; я Катьку за дурака Вропского отдам; я в город пойду, прописку получу, прорабом стану. Стану!"

Он чувствовал с удовольствием тяжесть собственных костей, их крепость. И дед, и отец были крупны телом. Для деда собственная земля была важнее жизни. Его убили, и он потерял и жизнь, и землю. Отец всю жизнь старался выжить, поэтому ушел из жизни, так и не попользовавшись ею. С ним, со Сливиным-третьим, будет иное. Старшина вновь прислушался к себе, и тот он, который был внутри, подсказывал поднять половицу и вытащить из-под нее тетрадь Вропского.

"Наша страна есть страна, где гордость - преступление, а смирение - необходимость".

Сливин пререлистнул: "Я высказываю мысль, что марксизм останавливает развитие мысли, что это учение лишает человека возможности выразить себя, что идеология учения, будучи внешне всемирной, позволяет нашему государству непроницаемо ограничивать граждан от остального мира".

Сливин присвистнул, подумал невольно, что за такие слова два раза расстрелять - и то мало. Но вновь раскрыл наугад: "Принимая безгласно дурное, человек соучаствует в нем. Отказываясь от суждений, человек отказывается от свободной воли, дарованной ему высшим началом... Над всеми нами властвует злой смысл, который всегда является опасной бессмыслицей. Поэтому, проживая в самой большой стране мира, мы не можем свободно расселяться по ней; поэтому, проживая в великой своей культурой и богатством стране, мы бедны".

Старшина не пытался понять, почему смысл может быть бессмыслицей. Он подумал другое: "Парень, написавший такое, Катюку не бросит; человек, думающий так, никуда от меня не уйдет. Дело в шляпе".

Через пять минут Сливин сочно похрапывал. Рука, подчиняясь красивому сну, гладила то койку, то грудь уснувшего хозяина.

Уже много ночей воспаленные веки Екатерины Горбаневской желали покоя. Томясь на постели, она силком пыталась толкнуть себя в сон, но глаза через минуту широко открывались на черноту потолка. Иногда пальцы шупали растущий живот.

Еще месяца полтора - родители увидят и, если не подать им жениха, прогонят. Сливин ее оставил, бросив, как собаке кость, взамен себя тощего Семена...

Она вспомнила Вропского, и он неожиданно представился совсем не противным, не тощим, а складно худым; не странным, а удивительно необычайным. Лицо Вропского любило ее, Екатерину. Тут ошибки быть не могло. Семен увезет ее - в Ленинград, пропишет. Она будет прописана в Ленинграде! У Вропского нежные руки, и она будет жить в Ленинграде.

Веки резко опустились, чтобы глаза могли найти легкое небытие, то ли чтобы она без помех мечтой могла нарисовать свою жизнь в большом городе.

Ничего не получилось, только вернулось ушедшее прошлой ночью желание ощутить возле себя и в себе того же проклятого Сливина. Это желание было настолько сильным, что Екатерина Горбаневская раздвинула ноги и держала их так, пока не уснула.

Вскоре Семен Вропский и Екатерина Горбаневская расписались. Родители Кати были, в общем, довольны. Парень серьезный, работающий, ученый, да и умершая в Ленинграде мать зятя сохранила для сына жилплощадь.

Свидетелем при регистрации брака был выпирающий из парадного мундира старшина Сливин, ставший за два дня до этого знаменательного события кандидатом в члены партии. Он тоже был доволен жизнью.

Семен Вропский влюбился.

Он страдал в детстве: маленький рост и хилость тела терзали его. В отрочестве прибавился страх не суметь овладеть женщиной. Первая, пьяная какая-то студентка, избавила его от напасти в первую же ночь: "Не могу больше... устала. Ты прямо железный". Излечился Вропский, но только наполовину. Не было в нем познания тайны долгой нежности мужчины к женщине; не было мягкого молчания, полного взаимоощутимых чувств, маятника, повторяющего с потрясающей сердце простотой: "Ты здесь, ты моя, ты здесь"; не было тех как будто пустых слов, которые принимаешь, не раздумывая, как важное...

А с этой женщиной все оказалось странно-новым, не таким, как ожидала тайная надежда. Что девка Сли-

вина ему очень понравилась, было до невероятности отвратительно. Он должен был есть то, от чего отказался обезьяноподобный старшина. Он должен будет признать своей мразь, которую таскает в брюхе эта девка... Чудесное отвращение: Вропский благодаря ему, позже благодаря его, лег впервые с женщиной без привычного, все заглушающего желания доказать себе и ей свою силу. И впервые в его освобожденном теле проснулись любовное обоняние, слух и зрение. Изумленный, пропитываясь весь этим чудом, ощущая его необыкновенную простоту, а потому - явную невозможность заменить его чем-либо, Вропский мгновенно понял: надо до самой смерти пришедшее не отпускать. А когда вместо привычного отчуждения пришла долгая нежность, он счастливо-обреченно решил: "Я влюбился, и ничего тут не поделаешь".

Наутро Вропский с самоиздевкой подумал, что всем случившимся он обязан Сливину. Эта мысль очень скоро стала питать ненависть без меры, как на убой. Она преследовала, грызла. На посту он представлял себе пулю, раздробляющую рот-щель Сливина, а в уборной думал, как бы подпилить доски, чтобы старшина, провалившись, задохнулся в дерьме.

Сливин выполнил обещание, вернул тетрадь, по своему обычаю хохотнув:

- На, спрячь, а то гляди, Катька найдет и в свою очередь у тебя чего попросит... И вновь не откажешься.

Вропский в тот же день отправил свои записи в Ленинград верному другу. Он нашел совет старшины верным, но от этого ненависть к нему стала все более удушливой. Сливин Вропскую не видел, ею не интересовался, но каждый раз, отпуская Вропского к жене, шутил, утробно хохотнув: "Иди, иди, мы ж почти родственники... может, поделим Катьку, недолго ведь делить придется, у меня дембель во! на носу. Ладно, не бойсь, не бойсь, у меня другая баба есть. Ступай себе".

Короткий хохот старшины физической болью врезался в барабанные перепонки Вропского. Он страдал и никуда не мог уйти от этого страдания. Даже будучи с Катей, он представлял, что Сливин вот-вот, хохоча, свалится на них с потолка темной массой.

Только черт знает кто притащил в караульное помещение спирт, но его было много. Помначкаром был Сливин. Он выпивал кружку и шел проверять посты или разводить часовых. Вропский, дождавшись смены, возвращался в караульное помещение, где, избегая встречи со старшиной, наливал себе стопку-другую...

Ночью, будучи в бодрствующей смене, толкнул Вропский дверь караульного помещения и вышел во двор поглазеть в сторону дома, где спала, разметавшись на кровати, Катя. Пьяному Вропскому было тоскливо, память оставалась при нем. Хотелось уткнуться в колени уже умершей матери и плакать, как это умеют делать взрослые, но слабые люди.

Вслед за ним во двор вывалился из караульного помещения едва держащийся на ногах старшина Сливин. Поблевав, он подошел к темной стоящей у забора фигуре:

- Чего стал, падло? Чего на улице делаешь, сволочь? Устава не знаешь?! А-а-а, это ты, родственничек. Так бы и сказал. Ты же мне лучший друг... ты ж меня спас. Я в город уеду. Я прорабом стану. Хочешь, я тебя к себе возьму? Человеком будешь... со мной не пропадешь. Знаешь что, пойдём к моей бабе, у нее жопа - во! Не то что у Катьки. Пойдем.

Вропский ответил:

- Пойдем.

Он взял Сливина за руку, потащил его по направлению к постам. Старшина, не в силах совладать с размякшей шеей и поднять голову, спросил:

- Ты чо, дорогу, что ли, знаешь?

- Знаю.

Сливин сделал усилие, чтобы понять, каким образом дурачок Вропский знает путь к его новой бабе, но хмельная волна разрушила старание и, вертя землей, понесла его к бездумному веселью. На крик часового: "Стой! Кто идет?" - Сливин захихикал, как если бы ему показывали палец. На второй, хриплый от волнения и страха крик: "Стой, стрелять буду!" - он, все пытаясь поднять голову, весело заматерился, толкнул локтем в бок молчавшего Вропского и сказал, плюнув в сторону поста:

- Ишь ты, во дает, во дает!

Часовой, рядовой Бажанов, забыл с перепугу дать

выстрел в воздух. Лихорадочно лязгнув затвором и спустив на автоматическое, он выпустил в направлении неясных звуков весь рожок до последнего патрона. Автомат заплясал в дрожащих руках. Пули уходили в небо, в землю, во все стороны. Когда звуки выстрелов прекратились, рядовой Бажанов еще с секунду нажимал на курок молчавшего оружия и только после этого упал на землю, больно ударившись о камень подбородком. Он почувствовал: желудку стало очень холодно. Мысль, что у него недержание мочи, испугала Бажанова. Будут смеяться! Рука нащупала ширинку. Сухо. И ушел страх. И пришло непонятное ему чувство-желание. Он перезарядил свой "калашников", пошел по направлению, откуда еще так недавно были слышны странные шаги, непохожие на поступь смены, и какие-то еще более необычные звуки. Он их после назвал "смех перед смертью". Бажанов опомнился, когда наклонился над телами старшины и Вропского. Он глядел и старался понять: что же произошло? Новый шум людей, бегущих быстрым бегом, вернул ему только что ушедший страх. Истерика этого страха, гнездившаяся в кишках, поднялась, дернула голову. Бажанов завизжал: "Осветить лицо! Стрелять буду!" При свете фонарика он узнал своих, не мог не опознать. Но Бажанов никогда не узнал, что в эти минуты ему очень хотелось еще пострелять и еще поубивать, еще ощутить власть над жизнью.

Сливин был мертв. Пули разбили ему череп. Вропский был жив. Он ушел в тяжелый сон с простреленной очередью ногой.

У прибежавших на выстрелы из караульного помещения ребят рты не раскрывались, тела не шевелились. Почти все они были впервые в жизни свидетелями насильственной смерти. Первым опомнился разводящий. Он, взглянув на Бажанова, забрал у него автомат, приказал взять тела, оставил на посту парня, на которого указал палец, и, подумав, что, кажется, здесь делать больше нечего, повел всех обратно к караульному помещению. Шли молча. Все были заняты уничтожением во рту спиртного перегара: жевали табак, землю, траву, листья. От хмеля давно ни в ком не осталось и тени следа.

Это ЧП долго обсуждалось в части. Следствие могло опереться только на показания Вропского. Они были незатейливыми: старшина дал выпить и сам, будучи пьяным, приказал следовать за ним. Когда часовой закричал, он, Вропский, попытался что-то сказать, но старшина, рассмеявшись, зажал ему рот. Больше он ничего не помнит.

Офицеры части, чувствовавшие: дело не так просто, и знавшие, что связывало Сливина и Вропского, смолчали. Нельзя выметать сор из избы, противный ветер может отместить его обратно с добавкой. Нет, чем банальней случай, тем лучше.

Следователь пытался узнать, действительно ли часовой выстрелил в воздух перед тем, как открыть огонь по нарушителям. Все ответили, что да. Гибель старшины никого не огорчила, а главное - каждый из свидетелей мог быть на месте часового.

Вропский сохранил ногу, был комиссован, забрал беременную жену и, прихрамывая, уехал к себе в Ленинград.

Ядовой Бажанов страдал совестью дня два. Комполка за выполнение боевого задания дал Бажанову отпуск, и ему полегчало, а когда новый старшина дал в руки на три четверти съеденную посылку, он подумал с удовлетворением, что правильно сделал, убив старшину Сливина. Когда Бажанова провожали в отпуск, он сказал друзьям:

- Много старшина сожрать хотел. Не вышло. Последнее печенье мое он, сука, так и не переварил.

Глаза Вропского медленно наливались явью. Уходило прошлое, не нуждающееся в грубом зрении, пятилось воспоминание. И вслед за страданием, живущим в неизвестных глубинах человека, быстро-быстро карабкалось к совести заслуженное спокойствие. Вропский увидел: пустая раздевалка, дверь полуоткрытая в цех. Там еще сверкал свежей краской конвейер, пущенный недели две назад. Он значительно повысил производительность, и люди ждали хороших заработков, во всяком случае надеялись, надеялись по-глупому, не ожидая худшего. Вропский, проходя мимо конвейера, холодно улыбнулся и сказал ему мыслями: "Давай, ра-

ботай. Может, я, наконец, увижу воочию, как технический прогресс разбивает себе лоб о социальную дурь. Подожди, вот новые расценки введут, тогда увидишь... те, кто тебя сегодня гладит, завтра на части рвать будут".

У проходной Вропский натолкнулся на охранника.
- Чего прешь?! Пропуск показывай.

Вропский добродушно удивился:

- Ты что, Степан, не узнаешь, что ли? Небось, уже полкило водяры сжрал. А ну дыхни!

Вропский хотел задобрить охранника... на всякий случай. Конвейер, расценки, охранник - они могли расшевелить болото и вместе с ним трясину, он это чувствовал.

Охранник не принял шутки. Крепкое его лицо намурилось:

- Я на работе служу, не пью. А знаю тебя или нет - все одно. Давай пропуск. А то чего доброго, вообще перестану пропуска требовать, позабуду. А Хозяин любит, чтобы у него пропуск требовали. Думает небось тогда, не игрушки выпускает, МиГи или даже спутники. И правильно делает, на то он и Хозяин, пусть даже зверь. Ну, есть во мне пол-литра. Пусть наказывает, пусть выгоняет. На то он и Хозяин, тебе говорю! А ты как глухой.

Охранник говорил с глубокой искренностью и рабской страстью.

Вропский показал пропуск и вышел. Охранник погасил в нем пробудившееся в цеху волнение. "Понизят ли расценки или нет, все равно ничего не будет, - думал, едва заметно прихрамывая, Вропский. - Будут подыхать с голоду, все равно не тронутся. Лакеи, рабы. Да каждый совесть продаст, лишь бы трудовая книжка осталась чистой. Нет, не имею я права так думать. Ложь это. Это мой страх, моя беспомощность говорит, вечное мое поражение, неверие. Я должен, должен их любить, они - мой народ. Ну вот, сам себе начал говорить выпендренно. Но ведь это правда, я должен их любить. Иначе смысла нет ни в чем".

Он шел, сильно шаркая об асфальт подошвами. Кругом высились бурые кирпичные дома. Вропский не любил родной город, игрушечный нерусский Питер с его Невским, с его куполами, дворцами, садами, статуями,

идиотски окунавшими свои обнаженные тела в снег. Смесь изысканного французского равнодушия и итальянской крикливости. Все ни к месту, и все чужое... пожалуй, только от гранита веяло чем-то русским.

Вропский пробормотал с отвращением:

- Колыбель русской революции...

Дома ждала Юшка, двухлетняя дочь Сливина, уже удивительно похожая на старшину. Дома была и бывшая невеста Сливина - теперешняя жена Вропского - Екатерина. Она привыкла к городу, как кошка к подушке. У нее остались тихие глаза и плавные жесты, но ни толстые руки, ни взгляд не гладили, только царапали пренебрежительно, напоминая беспрестанно, что он - неудачник. Нежность Вропского, ненужная Екатерине, все чаще оставалась в теле хозяина, и Вропский с удивлением осознавал, что жена становится ему постепенно как-то ни к чему. Она излечила его, и он был благодарен ей, как бывают признательны раненые медсестрам до выписки, до выхода из госпиталя, до последней госпитальной ступеньки.

Ему было грустно это понимать, но что же - он, Семен Вропский, дальше будет существовать, стараясь видеть мир белее, людей красивее, неизбежную на его пути муку благороднее, чем подсказывает знание действительности. Его что-то разбудило, и он должен будить других - иначе его ждет бессмысленность, худшая из болезней ума.

Дома жила - но не ждала его - Екатерина. Они не поздоровались, так, ни теплоты, ни отчуждения. Юшка равнодушно прикоснулась губами к щеке приемного отца.

Он лежал без тепла к себе, без нежности, шедшей хотя бы от какого-нибудь существа. Пошел дождь, и заныла простреленная нога. Та тетрадь, вырванная такой ценой у Сливина, пропала. Друг сжег ее в припадке страха.

Оставалось как будто только плотно закрыть глаза и искать тайное значение в добровольной слепоте.

Когда на заводе выдали зарплату, люди неожиданно для Вропского вспыхнули. Сверхпродуктивность конвейера привела к такому понижению расценок, что многие остались после аванса еще должны государству. Они кричали:

- Чем я семью кормить буду?! Будь оно все проклято! И чтоб я после этого вкалывал? На...!!!

Семен Вропский быстро-быстро хромал по цеху, останавливался у одного, другого, третьего рабочего места... особые слова летели, и люди, словно опьянев от гнева, покачиваясь, повторяли их.

- Пусть пересмотрят расценки, мать их... пусть пересмотрят, тогда и начнем работу. Мы что, дурнее всех? Вы что, люди или козлы? Хотите пахать задарма? Давайте-давайте... Нет, пусть гонят, что причитается. Эти гады (Вропский указал ленинским жестом в сторону отдела кадров, кабинета директора) свою денюгу получают, из распределителя им икорочки отвалют, а детишкам своим они на день рождения по мотоциклу купят! А мы... А мы должны знать свои права! Мы не бессловесная скотинка!

Вропский увидел: только "мотоцикл" попал в цель, ударил по воображению. С одной стороны, пустые карманы, пол-литра не купишь, жене кукиш преподнесешь, детишкам - проклятья вместо гостинца, а с другой - сопляку в подарок мотоцикл, мечта взрослого, собственная мечта. Эта мысль мгновенно стала коллективной собственностью. Эта мысль-сравнение была неожиданной, но вместе с тем яркой и простой и именно потому - нестерпимой. Был ли у директора сын, мог ли он или хотел купить сыну мотоцикл, значения не имело, не могло иметь. Конвейер остановился. Толпа обступила Вропского.

- Правильно!

- Что теперь делать? Говори!

- Не дадимся!

Вропский растерялся. Он хотел заставить их задуматься, стремился вложить в них сомнение в неизбежности существовавшего бытия, дать сравнение, толкавшее к чувству "что-то может быть иначе".

В сгоревшей тетради Вропский как-то давно написал: "Эти люди удивительны для современной истории - партия отняла у них свободы, данные от природы зверю, а государство - свободы, добытые христианской цивилизацией за двадцать веков. А для них несвобода - нормальное состояние, мысль о свободе - следствие длительного пути борьбы за разрешение самому себе увидеть собственные цепи. И все они так или иначе

знают: сопротивление власти невозможно. Сам этот термин - <<сопротивление власти>> - давно уже стал исчезать из умов, ныне даже из звуков, издаваемых пьяными ртами. Чему они учатся - это спокойно претворять гадкую действительность в приемлемое ее подобие. Они искорежены и считают естественными добрые намерения и бесчеловечность действий".

Он не мог это повторить теперь, глядя на решительные гневные лица. "Чуть что не так будет, они меня самого разорвать могут". Действительно, что делать? Он хотел, чтобы они начали мыслить, как это делают свободные люди, а сразу вызвал действия. Он стремился поговорить с ними о правах граждан, а оказался во главе начинающегося забастовочного движения. "Отступать некуда". Вропскому оставалось только отделить сильных от слабых, направить сильных против власти и не дать слабым воспользоваться основным оружием слабых - злобным страхом.

- Я знаю, что надо делать! Прежде всего сохранить спокойствие. И проголосовать свободно. Тихо! Кто за то, чтобы мы прекратили работу до правильного пересмотра расценок, пусть поднимет руку. Так, почти единогласно.

- Как же, единогласно! Пусть партийные уйдут, пока не удавили.

Вропский поднял руки:

- Тут все равны. Так, значит, договорились. Будем ждать. Главное, повторяю, никаких эксцессов, никакого насилия.

Раздался смех:

- Мы хотим свои деньги, не морды бить!

Смех был отпихнут другим смехом, жутко-клокочущим:

- Не будешь морды бить, денег не получишь. Так-то, дуралей.

Вропский вздрогнул; ему на мгновение показалось, что готовится на заводе что-то жуткое и что завод стал миром.

Появление в цеху парторга и директора было встречено резко наступившим молчанием.

- Почему прекратили работу?

Тишина только сильнее задышала. Не заметив на лицах привычной робости, увидев на них плотную враж-

дебность, директор заорал, рвя голосовые связки:

- Да вы что?! Рехнулись?! Немедленно за работу... вашу мать!

Ответом было создание вокруг них человеческого кольца. Парторг, человек холодный и чиновник рассудительный, заговорил с подчеркнутой мягкостью:

- Товарищи! Что произошло? Если у коллектива имеются требования, прошу делегата выйти и сказать просто и ясно в чем дело.

Никто не клюнул, никто не выдал Вропского. Все заговорили разом:

- Мы начнем работать, когда будут пересмотрены расценки.

Каждый произносил слова, словно читал мысль соседа.

Директор взвыл:

- Все под суд пойдете! Это же саботаж!

Кольцо стало в ответ без всякой видимой угрозы, как приведенный в движение механизм, сжиматься. Вропский, ощутив схлынувшую с лица кровь, истерически закричал, стиснутый в кольце:

- Стойте! Стойте! Дайте им уйти!

Кольцо послушно разорвалось; проходя, парторг остро-быстро посмотрел на Вропского. Кольцо распалось. Люди-забастовщики весело устремились к заводскому двору, где рабочие других цехов, объявив себе перекур, смотрели с любопытством на странное поведение соседей. К вечеру хмельными хозяевами бродили рабочие по территории завода, вызывая махали бутылками, кричали о добываемой ими справедливости. Вторая смена цеха стала забастовочной быстро и бурно. Призывы первой смены она встретила восторженно, особенно не раздумывая, будто подчинялась приятному приказу. Это Вропский отметил с возрастающим беспокойством. "В случае чего не мы в ответе, мы только влились, присоединились, - так они думают". Вропского угнетали мгновения, когда он спас директора и парторга. Он отказался скрыть от самого себя: он был в те секунды ближе к парторгу, чем к безликому кольцу-удаву. Он погубил себя окончательно, выдал себя как зачинщика. "Но зато остался человеком!"

Весь день и вечер он ждал появления милиции, гебистов, но завод был явно отдан народу, власть так

и не пришла. Перед самым концом второй смены раздались крики:

- Степана кончили! Кончили Степана!

Вропский побежал, подбежал к КПП. Охранник был мертв - посиневший уже, он тарашился, страшно скривив голову, на одну створку незаконно распахнутых ворот. Вропский долго смотрел на лицо убитого. Он не ощутил в себе как будто ничего особенного, но как-то так получилось, что он начал спокойно презирать себя в прошлом. И пожалел так же спокойно, что не удавили давеча директора и парторга, не особенно пожалел, просто решил, что так было бы лучше, понятнее для всех. Потеря иллюзий о красивой и чистой борьбе за истину и гармонию не вызвала в нем особого сожаления, но все же, глядя на труп, он подумал, что голое насилие слишком уж уродливо, даже когда оно необходимо... Подбежал он к охраннику, будучи одним Вропским, отошел уже другим. Каким - он не знал и пока знать не желал.

Дома он все последовательно, но лаконично рассказал Екатерине. Вропский смутно ждал от нее не столько совета, сколько подтверждения существования нового чувства к ней.

- ...они основательно перепились, облевали все дворы вокруг цехов, а после убили охранника. Я посмотрел и пошел домой. Вот и все.

Екатерина рассмеялась:

- Я же тебе говорила: дурак ты и неудачник, все у тебя из рук выпадает. Ты умным только кажешься. Теперь твое дело - труба. И Сливина ты глупо убил.

- Не убивал я его. Это был несчастный случай.

- Говори, говори. Я тебя знаю лучше, чем ты сам себя. Думаешь, глупая, жадная, необразованная баба, ничего не понимает. Сливин сволочью был, но обо мне подумал: тебя сунул ко мне в кровать, чтоб жила в Ленинграде. А ты только о себе думаешь. Юльку для себя любишь, чтобы хоть как-то грех замолить. И меня любил для чего-то своего. И все, все для себя только, чтобы сам собою мог любоваться, себя в чести держать. Лучше бы ты деньги зарабатывал, торговал бы, воровал, честнее было бы, чище. А ты в церковь к себе ходишь. Вот что, уходить тебе надо. Зачем мне муж, а Юльке отчим - арестант? Ведь придут за тобой; может, через час придут.

Вропский грязно усмехнулся:

- Ну да. К прописочке и квартирка будет, куда е... водить можно без оглядки. А там, глядишь, и богатенького подыщешь, ты же видная у нас. Избавиться от неудачника - лучше повода не найдешь.

Жалость он в глазах Горбаневской прочел неподдельную. "Неужели она смеет меня жалеть? Господи, неужели я ее любил... Теперь это кажется невозможным. Но ведь еще сегодня утром на заводе..."

- Ты ошибаешься. Как раз избавиться от тебя - это уговорить тебя пожить дома денька два, больше не надо. Думай, что хочешь. Пойди к твоему знакомому Васе, ну, к тому мастеру, перед которым восхищался, слюни пускал, и купи у него трудовую книжку, да пускай он тебе штамп поставит в паспорте, выпишет из города. И не возвращайся ни домой, ни на завод.

Вропский поглядел на Горбаневскую, прямо ей в глаза, со злым восхищением, как когда-то смотрел на старшину Сливина:

- Умная ты, как я погляжу.

- Нет, я просто жить умею. Постой, соберу тебе чемоданчик на дорогу. И - прощай, не поминай лихом, авось и встретимся еще, но это необязательно. Я скажу тебе, что думаю: нет у меня на душе ничего против тебя, но - не нужен ты мне. Ты чужой.

Василий Степанович, человек неопределенного возраста и невероятной худобы, был фальшиводелателем высшей марки. Торговал он бойко всем несамоделишным, и символом его искусства было прибитое к стене гостиной сотворенное по всем правилам свидетельство о его собственной смерти. В свое время сидел Василий Степанович очень долго, но, как он сам говаривал, как-то уютно. В шкафу висела лучшая его одежда - мундир царского статского действительного советника, и фальшивых дел мастер любил повторять, что наденет он его и выйдет на Невский сразу же после падения советской власти. "А пока пусть подождет". Это не мешало многим считать его сексотом. Говорили так не со зла, мастера уважали, просто не могли иначе объяснить его нахождение на свободе. Помогал он антикоммунистам, от баптистов до демократов, много и

охотно, брал у них копейки, "даже не на коньяк". Выслушав Вропского, он сказал:

- Услужу тебе с удовольствием. Может, хочешь новый паспорт? Фамилия у тебя не совсем обычная. Добра этого у меня много, не так давно кучу принесли мне углы, прямо из отделения; где, как не в милиции в сейфах, документы брать. Не хочешь, не надо, дело хозяйское. Давай пятерку, а то глупо выглядеть чистым филантропом. И скажу тебе на прощание: поезжай на север, где от власти подалее и где люди нужны. Там интересоваться, кто ты да что ты, особенно не будут. От горечи только ты сам себя спасти сможешь. И добавлю, а ты подумай на досуге: нельзя о народе думать как о личности. Нет у народа головы, совести, души. Это все опасные сказки. Подумай.

Перед отъездом Вропский подобрался к заводу. И узнал: на четвертый день забастовки прибыли монтажники, разобрали новый конвейер и увезли его. Цеху был возвращен старый кустарный способ производства, а вместе с ним - и старые расценки. И все мгновенно успокоилось, вернулось на круги своя. На следующее же утро работа возобновилась, словно никогда не прекращалась.

ОХОТА

Поселок встретил Шубину всей своей осенней грязней. Люди шли, не здороваясь, не уступая дорогу ни слабым, ни чистым. В управлении обрадовались и Нефедову, и ей.

- Ты что, нарочно докторшу подцепил? Будет в поселке хозяйкой... а то санитар-коновал там распоясался, спиртом в открытую торгует, бл-л-л-л, м-м-м-м, иодом рак лечит, а опосля морду свою им пачкает - били его. Хозяина надо бояться, хозяйку надо любить, бл-л-л... так ведь? Да, как юг? Золотистым ты стал. А у нас тут от солнца чернеешь, как от нефти несуществующей, как от того самого угля.

- Ты мне дашь слово сказать, начальник?

- Успеешь. На вышке тебя ждут. Дождались. Заждались. Норкина назначили, пока ты на юге баб... это самое, сам понимаешь. Извините, девушка, но, понимаете, здесь без словца не обойдешься, не поймут. Еле сдерживаюсь.

Шубина кротко улыбнулась. Ей понравился начальник Василия. Говорил этот плотный коренастый человек точно так же, как двигался, как дышал - обрывисто.

- Ничего. Что вы, я понимаю.

- Спасибо. Так вот, Норкин ушел. Не ушел бы, я бы его сам ушел. Кишка у него слабая, а кто на вышке не может пойти, если нужно, на пьяный нож, тот не хозяин.

Нефедов кашлянул:

- Норкин не трус. Я его видел в деле.

- Знаю, но ему кажется, что один человек может понять другого.

- Это правда.

- И телерь на вышке нет никого; назначили, ко-

нечно, человека. Вропского. У него хоть образование какое-то есть. Так что топай. Да, для девушки...

- Жены.

- Для твоей жены в медовый месяц горячего не пожалею. Пускай до холодов ездит. Кстати, ты ведь к последней охоте прикатил.

Поселок был грязь на грязи и слякоть человеческая. Лица людей были расплывчивы, и все было полно спокойным стремлением выжить любой ценой.

Васильевы полдома были мрачны ветхостью мебели, старостью стен и полов.

- Я ведь предупреждал, тебе будет трудно, тяжело. Подумай еще, еще не поздно.

- Ты хочешь от меня избавиться?

Вопрос был глупым. Если он ответит: ты мне не нужна, она тем более ему была бы нужна. Если же нужна, то - нужна, чего же еще?

- Нет, не то. Я просто тебя не понимаю.

- Я тебя люблю.

К вечеру Шубина ощутила полдома своими. Ее радость от любви была медленно опустошающим ее открытием. Она была одна в мире. В этой сиротливости охраняемая ею душа Василия стала еще дороже, чем раньше.

Ужинали в кафе "Победа". Загорелый Нефедов выделялся на фоне бледно-розовых лиц сосредоточенно веселящихся людей. Женщин почти не было, и Шубина с беспокойством наблюдала, как лилась водка в пивные кружки. Компания за соседним столом добавляла в ерш папиросный пепел, подмигивала:

- Крепче будет, а?

- Хошь?

- Подсаживайся, не обидим.

Нефедов, заметив смуту в Ольге, улыбнулся:

- Не обращай внимания. Скучно им, одним ершом весел не будешь. А здесь и столовая, и кафе, и ресторан, и закусочная. Все вместе, как при коммунизме.

Дым колот глаза, запах человеческий был плотный и такой живой, что как бы заменял движения людей, дополнял несшийся со всех сторон мат.

За соседним столиком паренек внезапно заорал:

- Ну, выпьешь, что ли?

Шубина не смогла скрыть испуга, отпрянула,

схватила за рукав Василия. Тот вновь улыбнулся:

- Вы, беспортошники, заприте хайло, девушку же пугаете. Хотите, чтоб я встал?

Голос его был спокоен, тих, тяжел. Было очевидно: хозяину голоса действительно лень вставать.

- Да чего ты, мастер, кипятишься? Мы же по-хорошему бабе твоей предложили. Чего ты?

- Знаю, что по-хорошему, иначе... Ладно.

Парни обиженно отвернулись. Шубина, не отпуская рукава, шепнула:

- Душно здесь, пойдем домой.

Нефедов поморщился слегка, но согласился:

- Правда.

Видимые в ночи контуры домов омоложили поселок, стройнили его; осенняя грязь тихо и приветливо чавкала под ногами, но Шубина все же чувствовала идущую к ней отовсюду угрозу этого злого мира.

- Зря я повел тебя в этот кабак, но другого-то нет, вот в чем дело. Да и, в общем, везде же одинаково. По сравнению с Крымом король здесь голый, только и всего. Помнишь, из сказки?

- Конечно. Ты прав, но от этого не легче.

- От правды иногда все же бывает легче.

- Я не об этом. У нас там все как-то легче, чище. А здесь, прости, у меня такое ощущение, что каждую минуту могут зарезать, растоптать, оскорбить, все могут.

Они не видели друг друга, на пустынной неосвещенной улице жили сами по себе их дыхание, слова. Наверху месяц рассыпчатым светом освещал отдельные предметы: телеграфный столб, вездеход, окно. В тишине иногда словно светился тягучий собачий лай.

Шубина всхлипнула. Нефедов не успокоил ее теплотой ласкового движения. Голос его был равнодушен к словам:

- Ты ошибаешься. И, поверь, опасно видеть то, чего нет. Не балуйся умом. Король здесь голый, но король здесь тот же.

"Он мог бы мне напомнить нашу первую встречу, сыграть на этом, всучить наглядное доказательство. Он этого не сделал. Он боится. Толстую. Ее".

Эта мысль успокоила. Нефедов внезапно остановился. Шубина взглядела: контуры дома были чужими.

- Эй, санитар! Коновал! А ну выглянь!

Он не сдерживал голоса, как это делают в армии или в пустыне, чтобы себя услышать. Ему ответил тонкий сонный голосок:

- Что надо? Селезенка лишняя, что ли? Я покажу орать!

- Что-о-о? Блядь косоглазая! Нефедов с тобой говорит. Знаешь такого? Тебе назначили докторшу. Мою жену. Если что услышу, искалечу.

Окно захлопнулось. Шубина рассмеялась:

- Ты думаешь, принял он тебя всерьез? Знаешь, сама могу себя защитить, особенно на работе.

- М-м-м, прости, что выругался, но с ними иначе нельзя, не поймут. А поверит. А почему бы ему не поверить?

От простуды Нефедова ей стало чуть жутковато. Смеяться уже не хотелось. Вместо того, чтобы спросить: "Неужели ты страшный?";- она спросила:

- Неужели он такой страшный? По голосу не скажешь.

- Да нет, мелкота. Такие не рубят, а пилят. Был хозяином на медпункте, теперь перестал. Теперь ты начальство, а он внизу. Люди подобное плохо переносят, особенно когда власть была с ними, а ответственность - далеко. Он мстил бы тебе, телеги бы катал.

- Все люди, что ли, такие?

Нефедов обнял ее за плечи, густо хохотнул:

- Сама знаешь, на такие вопросы ответа нет, не было никогда.

Под его рукой вздрагивало ее плечо. "Ей нужен ответ, чего бы ляпнуть?"

- Идем. Увидишь, не все так плохо здесь - в мире людей всегда можно найти место, где хуже, гораздо хуже. Мы дышим, небо вот все наше... Хочешь чего?

- Лечь, обнять тебя, а после уснуть.

До самого дома Нефедов был для Шубиной верным, огромным, охраняющим ее псом. Она гладила его по затылку, водила сильно рукой по спине, шептала часто: "Мой хороший, ты со мной". Только в постели она перестала бояться человечества и даже полюбила его.

- Вася, ты спишь?

- Почти. Из первого сна твое подкатывается. Соскучилась?

Что-то скрипело, возилось, как большая мышь в углу или маленькая ставня на ветру. Это могло быть и дыханием больного мужчины, давно умершего в этой комнате, или даже шумом будущего одиночества.

- Ты завтра уедешь? Не могу уснуть. Завтра?

- Утром. Сегодня уже. Не беспокойся. Я пришлю за тобой кого-нибудь, и мы пойдем на охоту. На последнюю.

Она, нелепо подпрыгнув на кровати, навалилась на Василия:

- Последняя! Почему последняя? Почему?!

Нефедов, почувствовав щекой ее слезы, лизнул раз-другой. "Ничего, привыкнет. Поорет на работе, нет ничего лучше для нервов".

- Успокойся, тебе говорят. Последняя, потому что скоро река станет; вот зверье, птица и топают к воде напиться последний раз в году, перед льдом, морозом, снегом, длинными ночами. Только и всего. Ну, баюшки-баю.

Убаюкав, он вспомнил ее жесты в любви, тело, подумал: "Страсть от страха - штука, в общем, неплохая." Сам расслабился и позволил себе быстро уснуть: работа не волк, а все же вечно голодная. Его ждала буровая.

Шубина, увидев дышащий грязью медпункт, изможденное лицо бывшего уже начальника с каким-то перевернутым взглядом, подумала с четкой простотой, мысленно растягивая слова: "Ну что, что я тут делаю на краю света? Спасая Василия Нефедова от смерти, которую он не видел, знаю. Безумие, безумие ведь. Другого слова не подберешь. Ну ладно, что же делать, будем продолжать сходить с ума, а как, не все ли равно?"

Проснувшись на рассвете, Шубина пошла поздороваться с дедушкой и только на третьем шагу вспомнила, где она и что жизнь пошла кувырком и в слепом движении связала ее мистическими нитками с миром грубых людей, который она всегда обходила. Нитки эти можно было как будто легко порвать, но именно слабость уз заставляла Шубину их оберегать почти против воли. Люди вообще лелеют слабое зло в себе, двойс-

твенное, такое, когда для его преобразования в добро достаточно небольшого, приятного усилия воли. "Нет, нет, я люблю Василия, Васю. Все цельно. Я никого не презираю. Я не из тех, кто, любуясь зайцем, жрет зайчатину. Я не погубила Василия, чтобы после, спасая его, полюбить себя. Чушь".

Санитар без любопытства смотрел, как сквозь себя, на задумчивое выражение лица женщины. Он просто хотел, чтобы она не существовала. "Хана лафе. Все равно ревизию устроит, стерва. Что делать?" Выход был один, и вел он к неприятностям. Санитар знал: рано или поздно они будут; скорее рано, ведь ему никогда не везло, даже на рыбалке...

Когда, позже, врачиха позвала в его бывший кабинет, санитар пошел на ватных ногах и почти с закрытыми глазами. Все было ужасно и гнусно, хуже, чем перепой без похмелья. Он тихонько проклял Нефедова, весь существующий за поселком мир, перемены, движение вообще. Приветливое лицо красивой врачихи внезапно разбудило в санитаре уснувшие с детства силы - отчаянная бесшабашность забурлила в нем, хоть яблоки кради.

- Что?! Ну и увольняйте. Техникум кончил. С руками и ногами возьмут. Подумаешь, явилась!

От злости и смелости одну его икру схватила судорога.

- Да. Все знаю! Муж твой грозил убить, ночью грозил. Знаю. Скажу.

Шубина с удовольствием пригласила величественным жестом этого невзрачного человека приблизиться и сесть. Игра в начальника, как только она убедилась, что санитар неумело воровал, ей понравилась.

Не он, а она знала, что произойдет. Санитар мгновенно успокоится, робко подойдет, сядет на краешек стула. И будет с возрастающим удивлением слушать.

- Уймитесь, прошу вас. И не беспокойтесь: все, что нужно, - спишем; все, что нужно, - выпишем. Я понимаю: трудно лечить людей одной зеленкой и аспирином. И спирта у вас уже давно нет... Вот что, нужно нам сработаться. Почему вы ничего не требовали?

- Требовать?

В лицо санитаря вписалось древнее выражение издевательского превосходства раба над господином.

- Требовать? Не буду. Требуйте.

Ей показалось: и у Василия бывает такой взгляд... Нефедов бесшумно ушел перед рассветом. Ну и что? Он не такой, этого не может быть.

- Принимая безгласно дурное, человек соучаствует в нем. Понимаете? Вы должны лечить людей. Что вы об этом думаете?

- Ничего.

- Отказываясь от суждений, человек отказывается от свободной воли, дарованной ему Богом.

Лицо санитаря не изменилось, хотя он и подумал: перед ним сидит явно сумасшедшая. "Может, и клево. Может же все быть, как раньше, тихо. Пыль должна быть на земле, не в воздухе. Так ведь? Так".

- Молчите? - спросила уже без особого удовольствия Шубина. Игра не игралась.

Санитар молчал. Он гадал, будет ли эта врачиха записывать спирт или не будет.

Шубина сказала:

- Я понимаю, что вы, как и многие, считаете благом свою прибыль и злом свой ущерб. Это нормально, однако мы здесь, чтобы работать, лечить. Поэтому я вам советую превратить как можно быстрее этот хлев в настоящее лечебное заведение.

Санитар поколебался и все же решил произнести истину:

- Не надо лечить. Начхать. Нужно больничный давать, на температуру не глядеть.

Шубина рассмеялась, но через несколько дней убедилась, что санитар был прав: к ней приходили за больничным, кто с подарками, кто с улыбкой, здоровые люди. Либо больных не было, либо они лечились у знахарок, либо знали, что ей лечить нечем. Медпункт стараниями санитаря сверкал, из управления доктору Шубиной обещали, посмеиваясь, прислать все требуемое и просили о собственном здоровье.

Ночью словно воздух уходил из поселка, только собственное дыхание шумело, и Шубина, тоскуя по Василию, старалась лежать с закрытым ртом и плотно зажмуренными веками. Однажды она вышла из поселка и не ощутила этого. Заплакала она только через неделю.

Придя с работы, которая не была работой, об что-то споткнулась, хотя спотыкаться было не о что. Плакала тихо и долго - эти нужные долгие и спокойные слезы были работой, лечением, лекарством, и после она так же долго и спокойно смеялась над собой.

Мотор вездехода продолжал урчать. Шубина прислушалась. "Почему не глушит? Странный больной". В медпункт вошел, похрамывая, худощавый парень.

- Здравствуйте. Машина к подъезду подана. Извольте.

Глаза его смеялись, смотрели с легким любопытством. Шубина с удовольствием вслушалась в его произношение. Определила: "Из Питера".

- Какая машина? Почему оставили мотор работать? Что у вас с ногой? Думаете, я вас вылечу вполоборота? Покажите.

Его ровный смех, вежливый, лишенный "ха", приласкал Шубину.

- Простите. Виноват. Я не болен. Приехал за вами. От Нефедова. Вашего мужа. Вы приглашены на личную охоту бурового мастера. Моя фамилия Вропский. Семен Вропский.

Он видел, как глаза женщины поглупели от радости и как лицо от этого стало еще красивее, выражение мягче. Его кольнула не зависть, а грусть, но он заставил себя игриво улыбнуться. "Была бы зависть, - сказал он себе, - вышла бы похабная улыбка".

Шубина спросила, спешно собираясь:

- А как вы меня узнали?

- Он описал. Бедра - как две кобылицы; пупок - как арбуз, помазанный медом; кудри - как овцы стада-ми... Вот. Довольны?

- Довольна. Перепутали бы меня с санитаром, все равно Соломон-Нефедов был бы вынужден вас простить.

Оба рассмеялись заговорщицки, ликуя, зная, что никто в этом поселке не понял бы их разговора.

- Ах, забыла, кстати, о санитаре. Вы идите. Я ему скажу, что буду отсутствовать...

- Дней пять. Не беспокойтесь, если - десять.

- Что вы, я уже поняла: люди тут по-другому относятся ко времени, чем...

- Чем?

- ...чем в других местах, краях, что ли.

Вропский собрался выйти, остановился, тряхнул головой:

- А почему бы вам не сказать. Мне кажется, вы хотели произнести: чем в цивилизованном мире. Не правда ли?

Шубина не призналась: ей показалось, что этот человек мог бы ее за это осудить. Вропский послушал молчание, кивнул головой. Он вышел к вездеходу просветленный. Давно Вропский так не разговаривал, ощущая тайную связь с мыслями собеседника, забавляясь ими, выраженными вслух лишь наполовину, почти видя не существующими наяву красками недоговоренное, подспудное. Этот мир, в котором тело - только предлог для жизни, давно его не посещал.

Не так давно на вышку прибыли Кромов и Березов, и Вропскому показалось... многое показалось странным. Кромов часто орал, Березов часто молчал, но они оба тщательно скрывали не только мысли и слова свои, но и намерения. И они следили за ним. Или ему только кажется? Ближе всех был ему Березов. Иногда хотелось пожать ему по-особенному руку, хлопнуть Володьку по плечу, сказать: "Да чего это мы? Мы же..." Мы же - что?

Увидев подходящую к вездеходу Нефедову, он спросил себя, как такая интеллигентная женщина могла выйти замуж за такого типа, как бурмастер. "Может, она просто блядь? И вовсе не интеллигентная? А Березов тоже, может быть... А я?"

- Я готова. Взяла всю свою мягкую рухлядь. Что у вас в кузове?

- Набрал заодно на базе прокладок, машинного масла. Мелочь, а без них нет буровой. А для вас торбаза нашел; они теплые, как унты, но легкие. Взял на девушку среднего роста. Если хотите, могу достать вам противознцевалитный костюм. Особенной опасности нет, но иногда все же люди умирают.

- Авось не умру. Вперед.

- Вам не кажется, что думать о жизни значит думать о смерти? Забавно, я теперь об этом часто думаю... Подождите!

Вездеход не спеша продвигался к концу поселка,

и Шубина смогла разглядеть стоявших у магазина людей. Они выходили, обращали на что-то внимание, подходили к чему-то и со странными лицами быстро отходили прочь, их сразу заменяли другие люди, такие же.

- Подождите! Что там? Пойду полюбопытствую. И вкусного куплю. Вам неинтересно?

Вропский ответил равнодушно:

- Нет. И надо ехать, если хотим до темноты добраться до вышки. А вкусного здесь ничего не бывает. Есть лишь коньяк да духи, их здесь никто никогда не покупает. Ладно, идите, только, пожалуйста, не задерживайтесь.

Шубина повторила движения людей; только выйдя нагруженной бутылками из магазина, повернула голову к чему-то, на что все обращали внимание, и остановилась. На листовке было написано: "Коммунистическая власть нарушает права человека и гражданина, она лицемерна и преступна; ее нужно уничтожить, а пока хотя бы заставить соблюдать собственные законы и международные конвенции". Указывалось: советский человек хуже крепостного, ему необходима свобода совести, слова, бунта, печати, собраний, забастовок. Шубина отшатнулась, не так от слов, смысл которых был понятен и близок, как от яркости их незаконности. И еще: веяло от них тревогой, жадностью, спокойным бешенством. Не вдумываясь даже толком в значение слов, она ощущала призыв к замечательному преступлению. Отшатнувшись, Шубина вновь впиалась взглядом в бумажку. Сосредоточиться мешала какая-то сила. Это ее оглядывали люди. "Ах да, положено посмотреть и сразу отойти. Они меня уже все запомнили". Одна из бутылок выпала из рук, покатилась бомбой с фитилем...

- Ну-ну, гражданка, коньяк роняешь. На. Пить надо, не баловаться.

Человек смотрел на Шубину насмешливо. "Как на приговоренную. Но... Но ведь он сам... сам читал!" Толстый конопатый и курносый нос человека играючи шевелился, заставил Шубину покивать мелко и в такт головой. Нос смеялся.

- Что с вами? Получили локтем? Знаете, здесь не церемонятся, бывает хуже, чем в трамвае... хотя за коньяк не толкают.

- Нет, нет, ничего. Поехали.

Вездеход скоро отбросил поселок за горизонт. Сам горизонт стал бессмысленным, открывая ту же красно-желтую качающую вездеход степь. Все буйно отцветало; лента дороги, червяк на безбрежности, была лишь подтверждением незначительности человека на земле. Шубина быстро забыла о листовке и смеющемся носе.

- Правы те, кто говорит: степь - океан.

Вропский рассмеялся:

- Без банальщины-правды не проживешь. Тайга - тоже океан. Вы и сейчас думаете о жизни и смерти?

- Я теперь понимаю, почему мне Василий как-то сказал, что жизнь и смерть - одно и то же. Он слишком долго, наверное, смотрел на степь и тайгу.

Вропский не скрыл удивления:

- Бурмастер это сказал? Ну и ну, не ожидал. Он вообще-то, насколько я понял, не любитель высоких дум.

Она сказала мягко:

- Но зато глубоких. Вы его плохо знаете.

Вропский отпустил рычаги, беззаботно потянулся:

- Ну, зачем знать начальство. Одни неприятности. Вот ты, товарищ Нефедова...

- Я не Нефедова. Моя фамилия Шубина, зовут меня Олей. И я не замужем.

- Как?!

- Вот так. Нате коньяк, глотните. Вам не пришло в голову, что я могла просто влюбиться в этого человека? Непременно нужно буровому мастеру забрюхатить врачиху, чтобы она с ним жила?

- Нет, мне просто казалось...

- Я знаю, что вам казалось. И зовите меня Олей, я ведь не обиделась. Заболеете, вылечу.

- Спасибо. Предпочитаю горбунью Клавку. Она без лекарств лечит. Старожилы говорят, в ней необыкновенный страх живет, он и лечит... В молодости, говорят, она шарлатаншей была. Кто-то недовольный ей позвоночник сломал и так долго мучил, что чудо в нее вселил, дар. Мудр народ, а? Какая чушь! Но она действительно руками да всякими травами лечит. Средневековье, а действует.

Шубина передернула плечами. Водитель глотнул из горлышка коньяку, вытер чистым платком рот. Курил, не пользуясь большим пальцем. "Манерами своими спасается от самого себя или чтоб здесь себя не потерять".

- Жутко все это. А я думала, тихо должно быть в этом краю. Степь, тайга, бесконечность, людей мало в этой необъятности. Спокойно должны как будто жить, а если бороться, то с природой. Так мне казалось.

Вропский приятно хохотнул, но она заметила: глаза его сузились, лицо стало сильнее, как и взгляд, устремленный в никуда:

- Месяца всего два тому в соседнем совхозе один человек повесился. Записку оставил. На опушке тайги. Прибил к дереву. Люди прочли, другим рассказали. Он написал, что дерьма на свете слишком много, потому он в уборную ходить больше не может и не хочет, а так как живой человек обойтись без этого дела не способен, то ему только и остается, что руки на себя наложить. Стало ему противно. Что-то в этом роде он и написал. Говорят, был как все, нормальный. И пьян не был, раз с веревкой долез почти до верхушки дерева, висел на пятнадцатиметровой высоте, чтоб его видели издалика или чтоб...

- Да?

- Не знаю. А другой себе уши отрезал, думал, что глухим станет. Все равно посадили. Одним любят, другим сажают.

Шубина откинулась на сиденье, притворилась спящей. Сквозь ресницы увидела обращенное к ней лицо парня... Вропского, как оно становилось задумчиво-грустным, мечтательным, чуть жалобным. Этого, Вропского, она должна была легко понять. "Интересно, у него есть высшее? Наверняка есть. Что же он тут делает? И почему он тоже странный? Почему на юге - вот и я уже тоже говорю <<на юге>> - все проще и люди не вешаются без причин?" Ей подумалось, что, может быть, здесь глубокое ощущение больших расстояний, им принадлежащих, делало людей другими: либо более терпеливыми, либо более нетерпеливыми. Ведь как-то смешновато делить огромное пополам, искать середину в бесконечном однообразии. Даже если редкие люди живут скуденно в нем, все равно в них живет си-

ла одинаковых далеких горизонтов. И странная сила, появляющаяся от постоянных разговоров с самим собой. "И Вася такой. Он может сам себе отрезать уши". При мысли о Нефедове ее тело упруго зажило мечтой о ласке. Она улыбнулась, вспомнив, что любит лежать на Василии, словно защищая его, подставляя Васильеву злу свою незащищенную спину.

- Что-то я, кажется, вздремнула. Укачало.

"Врешь. Не спала ты, милая, хотела с собой побыть. Ресницы дрожали".

- А вы спите. Я еще хлебну? Спасибо. Грозная все-таки красота, а?

- Да. Исчавшей зелени здесь нет.

- Оля...

Он замолчал, и Шубина догадалась, что ему было приятно произнести ее имя. Она с трудом вспомнила, как зовут водителя:

- Семен. Расскажите мне о Нефедове. Ну, ту вашу правду о нем. Я не буду вас уверять, что ничего ему не передам; в такие обещания, увы, верят только дураки или неразумно доверчивые люди.

Вропскому стало обидно: эта женщина сразу воспользовалась ласковостью в голосе, она точно ощутила лучшее мгновение. "Сучка". Он обиделся, но рассердиться не смог, мысль-слово была окутана добродушием, нежность от произнесения ее имени не ушла. Он порадовался сложности своих чувств.

- Хорошо. Постараюсь вас удовлетворить. Не знаю, вытанцуется ли.

"Удовлетворю тебя, милая, удовлетворю. Но что бы ляпнуть?" Вропский не обращал особого внимания на Нефедова. "Этот человек, - сказал себе Вропский, - несколько выделяется из толпы своей физической силой, ростом, энергией, но она связана с тем, что в руках его власть. Я говорил с ним раза два, играл в карты... да, он был единственным, кроме меня, кто знал фараона. Говорят, ему везет в карты и вообще во все игры. Он дает займы, но не прощает забывчивых, бьет с холодными глазами. Косеет по-партийному - орет с осторожностью, лишнее слово у него не оказывается лишним".

- Бурмастер, на мой взгляд, - человек прямой, ему неизвестны лабиринты мысли. Он не ведает радости от игры ума, но рассудок у него здравый, глупость от него не услышишь. Физическая сила делает его добрым, но щеку он не подставит, даже легко сдачи даст. Очевидно, грамотный, раз бурмастер. Как любит он красивых женщин, вам виднее. Вот и все. Скучно?

Он посмотрел на Шубину. Она улыбнулась долгой и мягкой улыбкой.

- Вы, Семен, очень живой человек.

Внезапно появившаяся железная мачта буровой вырвала у Вропского возглас:

- Вот она, голубушка, голодный край родной, пустой с кукишем посередине.

Темнота сваливалась на вышку, дома, людей, как пьяное желание спать. Вся красота вокруг вышки и толстых срубов была изувечена; засохшие валы грязи застыло скривились в сумерках; пыль лениво кружилась; окурки, клочья бумаги, консервные банки ждали снега. В тишине было слышно, как, захлебнувшись, дышали дизеля. Отдельно от срубов стоял вагон, около него играли в неподвижность две женщины. Шубиной только и понравились в видимом убожестве устремленные на нее восхищенные глаза неопрятных мужчин. Обступив вездеход, они толкали друг друга локтями, кривили шеями, осматривали недоступную женщину, южную врачиху.

- Ну что, ребята, насмотрелись на жену мастера? Где он?

Подчеркнув недостижимость женщины, Вропский повел ее к стоящему на возвышенности вагончику.

- Вот и капитанский мостик. Царю и Богу все отсюда видно, все грехи и прегрешения наши.

Вропский не мог не съязвить. Он чувствовал себя униженным оттого, что везет Ольгу, как слуга, начальнику. Вропский забыл, что не считал Нефедова начальником и сам вызвался поехать в поселок, что, наконец, с этой женщиной он только познакомился.

- Эй, начальник!

У распахнувшего дверь Нефедова было сердитое выражение лица. На нем Шубина прочла тупую не-

преклонность, самодовольную озабоченность, свирепую властность. Увидев ее, Нефедов не изменился.

- Начальник, пока ты ищешь фонтан мезозойских отложений, я для тебя клад нашел. Кстати, выступаем завтра?

- В восемь ноль-ноль.

Чужой ей Василий, произносящий вокзально "ноль-ноль", кивнул головой и жестом приказал Шубиной войти, войдя, сесть. Она услышала его участившееся дыхание, осторожно подняла голову, ожидая увидеть неизвестного ей человека, за которым никуда бы не пошла, на которого бы не легла. Перед ней стоял ее Василий; метаморфоза произошла мгновенно. От радости она вскрикнула, бросилась к нему, в яростном освобождении себя от мерзостных сомнений и почти принятого решения укусила его губу, успела об этом подумать, ощутила вкус крови, выпила часть Василевой жизни. Нефедов не вздрогнул. Она оторвалась и, зацыганяв взглядом, губами вытерла новые капельки:

- Ты мой. Без меня тебя бы не было.

Нефедов не понял, но звучание фразы ему понравилось. Он сказал:

- Я очень соскучился по тебе. Оля. Оленька.

В простоте слов Шубина захотела услышать отчаянный призыв, исходящую из мужской гордости потаенную мольбу о помощи, одиночество, страх. Она вновь прижалась к нему.

- Я с тобой, с тобой.

Нефедов рассмеялся:

- И я с тобой. А с нами бутылка шампанского. Тебя ждала. Давай ее раздавим?

Вместо ответа Шубина начала раздеваться. "Ну и баба. Огонь с дымом".

Шубиной хотелось снов, последнего сна перед пробуждением, растаять в чем-то, увидеть свою душу, поговорить с ней, узнать, кто она, и обрадоваться. Но невидимое в вагончике утро мешало, тормозило рукой Нефедова:

- Подъем! Зверь не ждет! Время не ждет! Встать, позавтракать, как пообедать, и приготовиться. Скоро вернусь. Действуй.

Глаза не открывались. Они еще жили ночным

Василием, ничего общего не имеющим с только что услышанным голосом и с сидящей в нем командной хрипотцой. Но тело послушно оторвалось от топчана, стало выполнять приказываемое, и ему было приятно, будто от властной ласки; в этом послушании было что-то от сна, который так и не пришел, сопрیکосновение с тайной в себе. Она была жрецом и жертвоприношением.

"Я никогда еще не была на охоте в тайге. Дедушка не раз говорил о природе, которой нет конца, нет, потому что она сильнее человека, сильнее мечты. Я не верила, не верю, но узнаю". Щётка царапала, легкая боль была приятной. "Нет овощей, фруктов, так и до авитаминоза можно докатиться". Она нажала на щётку, чтобы вызвать кровь. Вкус во рту не стал неприятным. "Пора на охоту".

Около вагона опирался на ружье человек с лошадиным лицом. И смотрел на дверь со спокойным терпением. Когда она отворилась, кругловатые его глаза только сузились слегка. Морозец слабел под напором пригревающего солнца, но Шубина все же увидела парок над плечью широкогрудого человечка, и это сразу сделало его симпатичным в ее глазах, и что ушанка была на стволах ружья - тоже было милым.

- Терентьев. Николай. Коля. А вас знаю, наговорили уже. И что лекарша. Что, на лицо смотришь? Оно такое, но таким бабам и нравится.

- И мне нравится. Скажите, Коля-Николай, что вы тут делаете?

- На этой вышке-то? Из-за вашего человека попал. Мастер наговорил мне семь верст до небес, я уши и развесил; верста он коломенская, доверие внушает, ляпнет ахинею и не сморгнет. Вот потому и сижу с ружьишком и гляжу на тя, как кролик на удава.

- Стойте.

- Это ты так видишь, а я не токмо сижу, а влежку и в штабель складываюсь.

- А чего вы так разговариваете? Слова такие подбираете?

- Как люблю, так и говорю. Углов в России много, в каждом словечке наковыряешь, вот тебе и язык, вареный, жареный, а свой.

- До тайги далеко?
- Сколько бы ни было, все с лишком.
- А охота богатая?
- Зверья полно, до Москвы не перевешаешь. Ты спрашивай, спрашивай.

Явно человек ласково издевался, но только не лежал, а глядел сверху вниз, баловался совсем не смешно, унижал ее своим мужицким хитрым гонором. Но было в нем столько чего-то полузабытого, да и фальшь была для него так, наверно, естественна, что Шубина и не почувствовала укола обиды в себе. Все здесь было необычным, немного больше, меньше...

- Да выдавай, выдавай, а то прибудет твой да мой начальник, шею нам и намылит: начальство, оно страсть как ревнивое.

- Что, Василий - злой человек?

- Злой? Ты куда это, милая, меня тянешь, а? Нет, совсем не злой. Но когда пахать надо, всех под один колер подгоняет, и ходу нет тому, кто торчит, поджавши руки. Когда ему нужно, то прямо аспид, а когда не на пожар, ничего человек, и даже хороший. Вот он, легок на помине.

Лицо Терентьева мгновенно подобрело, помягчело; жиденькая его борода прижалась к груди в знак повиновения. Деревом над кустарником стал около него Нефедов.

- Что ты тут делаешь?

- Чревом урчу, начальник. Душой то есть.

Весь его облик словно жаловался на собственную дерзость, извинялся, ждал понимания и прощения.

- Я тебе поурчу. Воды навез? Трактор в порядке? Кто с нами еще едет? Ну?

Шубина подумала, что ответит этот Терентьев: "Баранки гну". Ох, ответит.

- Так точно. Легко еще, озерко не замерзло. Воды хватит и на прокачку, и на котельную, и на кухню. Он ходит, только барахлит правый фрикцион и трудно сопит форсунка второго цилиндра. С нами едут одни городские: Вропский, Березов, Кромов, Андамиров, Гулько. Остальные сказали - охоту они в гробу видали, червонцы да спиртыга на деревьях, мол, не рас-

тут, а до остального им дела нет.

- А у тебя есть?

- Есть. Я все люблю. И природу тоже.

- Тогда ставь людей на попа и айда с Андой.

Поворачиваясь к Шубиной, Нефедов хохотнул:

- Видишь, от этой кацапской рожи сразу всякой словесной дряни наберешься. Замутит.

Шубина серьезно кивнула:

- Действительно заразительно. Но когда надо, лаконичен, как военный бюрократ.

Нефедов повел плечами, то ли одобряя, то ли осуждая:

- А как же, нужда всему научит - старая истина.

Тягач покачивало на буром океане, в кузов заползал, щекотал холодный ветер, но Шубина не жалела, что отказалась сесть к лошадиной голове в кабину: здесь на нее смотрели с затаенным и жадным восхищением. Только у Василия, вот, были в глазах световые пятна уверенного хозяина и на лице что-то, роднящее его с Терентьевым, который раздражает, но на которого никак не обидишься. Чернявый Вропский глядел, словно поэзию пил; белокурый и розовощекий Березов хотел бы не глядеть, а не мог; Гулько, он повторил, знакомясь, свою фамилию дважды, смотрел телом: спина его, обращенная к ней, то ежилась, то напрягалась под взглядом женщины, щекой он прислонялся к дрожащему брезенту кузова и, полузакрыв глаза, представлял себе что-то несбывающееся. Кромов глядел застенчиво, любовался как бы издалека. Андамиров узил узкие глаза, весело свирепел ими. Ощущение своей неповторимости, единственности в этом мире молодых мужчин с ружьями сделало Шубину на миг вечнокрасивой. Бессловесное чудо было бессовестно разрушено Нефедовым:

- Таки стало холодать. Не ударили бы морозы раньше времени. Вот будет нам тогда свистопляска, похлеще ведьм. А пока надо поддать, нате, флягу даю, канистру не трогать. Оля, это спирт, водой разбавь, ты же знаешь...

- Не я, мой санитар знает.

Все вновь превратилось в обыкновенно тикающую жизнь. Шубина махала под общий смех ладошкой перед белым ртом, и парни изумились, когда мастер лукаво сунул ей в руку настоящий лимон:

- Соси быстрее, а то цынга съест; вон она уже прыгает, на нос села.

Андамиров длинно выдохнул, поперхнулся от хохота, жадно зыркнул на удивительную зелень в руках красивой жены мастера, но не попросил:

- Настоящий медицинский! Лучше не бывает, зверь. Настоящий зверюга.

Нефедов отобрал у него флягу:

- Ты, Анда, зверушек должен в лесу встретить, не на печи и не зеленых, а глазанапы у тебя - и так сплошная татарва, косеть дальше некуда.

Глупый гогот покоробил Шубину. Все по шутке-приказу начальства вдалбливали в себя вместе со спиртом хорошее настроение. Она видела, как Нефедов коротко, но пытливо проверил, пошарив глазами по лицу каждого, удалось ли ему добиться бодрости в коллективе. Когда их взгляды встретились, он слегка нахмурился, затем подмигнул: мол, "если не слушаешься, не поддаешься и понимаешь, это ничего, ты ведь моя добровольно".

Березов вытирал кулаками в армейских трехпалых рукавицах слезы беспричинного веселья. Рядом Вропский еще хрипел, держась за живот: "Ой не могу, хватит, не могу". Андамиров просил еще спирту. Гулько, отсмеявшись, не мог засерьезниться.

Березов ткнул Вропского кулаком в бок:

- Семен, перестань, хватит, аонида же здесь, а ты позоришься.

Шубина улыбнулась. Этот Березов тоже видел в ней, как и Вропский при знакомстве, бабу-кралю бурового мастера, что-то вроде лейтенантской жены. Удовольствие быть знающей позабавило Шубину. Она игриво проговорила, играя губами:

- Я... Эрато.

Березов встрепенулся, бросил взгляд на Вропского, тот нежно погладил стволы своего ружья, сдул несуществующую пыль, улыбнулся с дружеским превосходством. Эта улыбка, пробившая угасающий смех, породила в Березове короткую злобу.

В нем стали собираться гнойные слова. Он приказал языку не шевелиться. "Что, неужели этот болван-мастер не видит, что они уже того, снюхались? А что если мастеру... Успеется".

- Какая у вас должность в этом раю?

Другие уже спокойно отдыхали от веселья, ослабленные, умиротворенные, готовые мирно ждать конца пути. Вопрос Шубиной был приятен: ей было любопытно узнать, что же делает здесь и этот ей как будто равный человек. Прежде чем ответить, Березов закрыл глаза, прогнал из них все лишнее:

- Направили меня на вышку, э-э-э...

- Ольга Владимировна.

- ...Ольга Владимировна, трактористом, но сидящий здесь начальник назначил меня котельщиком, проявив тем самым к моим способностям самое крайнее недоверие. Он принял меня, вероятно, за белоручку. И на том спасибо. Теперь я свое место знаю.

Нефедов хлопнул его по плечу с подчеркнутой фамильярностью:

- Обиделся. Еще-таки благодарить будешь. Белоручка и есть, погляди на пальчики. Трактористом его! Псих или гад, кто тебя послал. Терентьеву дорогу не надо знать, он лучше собаки ее чует, он из любой поляны вылезет и мокрым до дому дойдет, чтобы с него лед сняли, а ты, Березов, через метр бы стал до лета. А в котельной ты грязный да теплый, как у матери за пазухой, и если Терентьев прав и морозы с вьюгой ударят завтра без предупреждения, то последняя капля тепла тебе достанется, если раньше не полетим в высь небесную.

Все вдруг поняли, что мастер говорит серьезно.

- Как так? Что это значит?

Нефедов медвежисто зашевелился, покряхтел, кляня себя за откровенность.

- Ничего не значит. Испугались! Пошутить нельзя. Просто солярки мало осталось, оснастка ни к черту, прожекторы старые, канат - ёж, а долота лысые, масла кот заплакал. Я все доложил, письменно - береженого, сами знаете... в случае чего, буду белее снега. Немного тревожусь, а вы уже готовы до моря теплого бежать.

Андамиров проворчал:

- Никто не боится. Но нечего такое перед охотой говорить. Во, выпить бы. Да не дают.

- Натe, черт с вами.

Сам Нефедов стиснул зубы, мотнул головой, отгоняя мысли. Увидев внимательные глаза Ольги, Вропского и Березова, улыбнулся: мол, быть начальником - не корове хвост вертеть. Те переглянулись, пожали плечами и тупо уставились на цедившего спирт Гулько. Его блаженство показалось им уродливым, но они ему позавидовали. Буровой мастер был собой недоволен. "Хотел же забыть хоть на несколько дней об этом бардаке. А что если мои предчувствия всего лишь очередная блажь? Но у Терентьева тоже ведь... Он давно со мной вкалывает и в нашем деле ни хрена не зырит, а вот, блядь, впервые за много лет взял да ляпнул мне свое откровение, чтоб ему. Забыть! А если я Ольгу в заваруху затянул? Не прошу себе ни на этом, ни на том свете. Да я прямо баба, будущего сегодня нет и не может быть. Где же этот лес?"

Хмельной Кромов рассказывал анекдоты, от которых смеялся только Гулько. Андамиров посапывал. У Вропского смеркались глаза, они не смыкались, взгляд уходил в существующую лишь для него мягкую темноту. В нем было много детского, и Шубина невольно посмотрела на него с нежностью. Березов отвернулся.

Вездеход остановился, раздался вопль Терентьева:

- У-у-у-у-у! Вот она! Стои-и-и-т!

Впереди бурый океан ударялся о зеленый. От борьбы красок у Шубиной прервалось дыхание.

Березов выдохнул:

- Чудо.

Красота показалась сильной, цвета бились друг с другом, они были дракой сцепившихся на земле сплошь бурой и зеленой радуг.

А вблизи оказался обыкновенный лес; многие деревья были низкими от ветряной усталости, росли вширь и будто лбом упирались во враждебную степь-тундру.

Тягач остановился под одним из них, похожим на быка. Когда все, радостно суетясь, стали разбирать рюкзаки, прыгивать на землю, разминать ноги, глядеть по-новому на свои ружья, словно раньше из них

нельзя было убить, Терентьев уже сидел на своем барахле и поглаживал свою бороденку, слабо скрывающую коняжью челюсть:

- Что, когда остановились давеча, небось можечок растерялся, а?

Он глядел с забавой на Шубину:

- Да, было очень красиво.

- Красиво бывает жить, красивыми бывают хромачи, правда, мастер?

- Правда, правда. Помогите лучше ребятам выгрузить палатку. Нужно до ночи устроить куст*.

- Мы же притащились со своей душой, человеки, а душа не может быть красивой. Истину я говорю?

- Правда, правда. Услышу еще одно слово, эту душу из тебя и выйму. Давай, курва! А вы чего стали? Вперед. Охота не ждет, ночь не ждет, время не ждет, одна смерть ждет. Вперед! Нужно добраться засветло до реки.

Шубина шла налегке, почти с пустым рюкзаком за плечами; все ее вещи распределили между собой Березов, Вропский и Кромов. Впереди почти без шума шагал, легко неся тяжелую палатку, Нефедов.

Деревья теснились, в конце полян вырастали стеной, стройнели, высились. Умершие повисали на живых, создавали непроходимые чащи; живые обвивали мертвых. Шубина шумно дышала, представляла себе бесконечность тайги, сам воздух казался зеленоватым. "Я сама зеленою. А Василий ничего не видит. Спешит. Он деревяннее деревьев. Как я могла его полюбить? А может, он уже неживой, и я ничего не смогла? Но я ведь хочу его теперь, сейчас. А Березов, а Вропский? Они как друзья и как враги, они словно следят друг за другом. Березов красивей, но не потому, что не хромает, хотя, конечно, он элегантнее всех; наверное, хорошо танцует, вальсирует... в нем видна какая-то тайная сила, в глазах тайная уверенность, а Вропский, как я, хрупкий, нежненький, сомневающийся, издевающийся над собой, ну, и над другими, их же любя. Терентьев

*Куст - несколько близко расположенных друг от друга скважин, а также вахтенный поселок, где живут без семей буровики.

- паяц, работающий под юродивого, но в нем есть что-то страшное; не знаешь, что может сделать он со своими прибаутками; зарезать может так, для удовольствия. А Василий его любит. Любит! За что? Этот, как его, Кромов, так себе, только смеется истерично, зубы скалит, глаза таращит, слова выкрикивает. А остальные нормальные, пустое место. Как хорошо быть пустым местом. Я не могу больше. Упаду. Зачем все это? За что?"

Несущийся спокойным шагом Нефедов ловко обходил все, громоздящееся на пути. С огромным рюкзаком на спине, с большой палаткой на плечах, он казался гигантской летучей мышью. Он исчезал в оврагах, колдобинах, выныривал, палатка-крыло покачивалась. Шубина начала задыхаться, в глазах стало рябить.

"Василий! Вася!"

Безмолвные крики (она их видела, когда закрывала глаза) окружали Нефедова, просили, умоляли. "Разве умоляют летучую мышшь?" Они уйдут, а она, Шубина, останется под деревом красивым и станет красивым скелетом. "Я люблю его; я все для него сделала, все отдала, но только пусть он остановится, даст передохнуть... Дедушка, ты, наверное, прав... все, не могу больше..."

- Эй, ты что, обалдел, мастер? Это мы, охотники. Перекур!

Голос Березова был почти ровным. Он покосился на Шубину, принял открытую благодарность ее глаз. Нефедов резко обернулся, зашагал обратно к ним с недовольным и властным лицом.

- Это кто здесь командует? Кто?!

- Никто. То есть ты, мастер. Но зачем же так бежать? Охота - ведь удовольствие. Люди уже устали.

Березов врал. Нагло. Дерзко. На спокойном его лице исподтишка выступало торжество. "Чем он так доволен? Надо этому сопляку... иначе бардак будет".

Тут Нефедов увидел обессиленную, поникшую, испуганную Олю и понял, чего хотел, чего добивался Березов. И увидел он Олю, потому как сделал шаг в сторону - парень закрывал ее своим телом. "Умно. Вот что значит брать в лес бабу. Ладно, играешь? Я тоже буду".

- Охота - прежде всего работа, и только после -

все остальное. Ольга устала, это понятно. Но вы все... работяги. Три часа только идем, а уже влежку. Тоже мне. Ладно, передохните. Что же с вами еще делать. Рухлядь.

Гулько закричал с обидой:

- Да мы совсем не...

- Заткнись! Тебе и на собрании слова не дают. Дышите носом. Да и мало пути осталось. Водой запахло. Заткнись! Все, приема нет, батареи вышли.

Нефедов подошел к Оле, прижался ладонями к ее лицу:

- Сядь, сядь. Что с тобой?

- Ты был, как летучая мышь. Понимаешь?

- Да, хотя еще не ночь и мы в тайге, а не на кладбище, бояться-то нечего. Да, хочу тебя оберегать, вместо этого измотал. Я, прости, забыл о тебе, об охоте, об этой теперешней моей ответственности.

- О чем же ты думал?

- О возможной беде там, на вышке. А я ведь и здесь за вас отвечаю.

- А я за тебя. - Шубина добавила устало: Я тебя спасу. Я знаю. А что это за беда? Не Терентьев ли тебе голову морочит своей ворожкой?

Нефедов лег рядом с сидящей Шубиной, положил ей слегка голову на колени и впервые по-настоящему удивился ее изяществу, нежности кожи, ее любви к нему, тонкому ее запаху. "Ткнись носом и пей - не напьешься. Как же так вышло?"

- Есть немного. Только ощущение злого над головой да знание о нем в определенное время и в определенных обстоятельствах нужно ли называть ворожкой? Много разного может случиться, авось да повезет. Принеси мне счастье, а?

- Я уже принесла - отдаляю несчастье.

- Ты сказала, что меня спасешь.

- Да.

- Чудная ты. Случай - есть неосознанная необходимость. Ты - мой случай. Но я его не понимаю.

Она его гладила по лицу с медленной нежностью, размеренно, так, что большое тело Нефедова задрожало, приняло глубоко ласку. Он вспомнил внезапно Барбанову, увиденный им тогда космос, свои странные мысли, смутные желания. "Они как не меня глядят, а

себя. Какая хреновина!" Но когда Шубина заговорила, движения ее губ стали полными подозрения:

- Скажи, ведь ты, когда со мной разговариваешь... употребляешь слова, ну, нормальные, что ли, а с остальными предпочитаешь говорить, как твой Терентьев, а иногда и совсем... ты меня понимаешь.

- Понимаю. Примитивно. Вот такая ты у меня: ус- тала, не отдышалась еще, а такие вопросы задаешь. Это тайга... она всегда на размышления наводит. От- вечу. В работе, в армии, руководя и приказывая, нуж- но употреблять как можно меньше слов. Человек должен быстро понять, что ему приказали, хорош или плох приказ, и чем слова проще, тем легче человеку себе представить, что он сам мог в каждом отдельном слу- чае отдать этот приказ и, значит, убедить себя во время его выполнения, если ему захочется или сможет- ся думать, что он, приказ, действительно правильный. А если сумеет произнести, то приказ может превра- титься в совет или даже просьбу. Книжный же язык ви- тиеватый, одно старание не ошибиться, как бы тебе сказать, вызывает недоверие к нему, что ли, к тому, кто приказывает - и люди злятся на вызывающих по- добное чувство. Политдолбежка закончена. Пора. Ты сможешь? Мы пойдем тихонько, вместе. И... еще раз прости.

Тайга продолжала густеть, свирепеть для Шубиной зеленью всех оттенков и как бы освобождаться от мыс- ли человека о ней - такое происходит, когда мир до- казывает, что жизнь и смерть - одно, и этим уходит от человеческой жажды бессмертия. Когда они наткну- лись на остатки трупа, Шубина это явно почувствовала - не стало для нее разницы между трупом и живым де- ревом. Подошел Терентьев.

- Лось. Мишка его заломал. Шел ходом или бродил уже на жировке. Вода близко. Вот, барыня, стоишь под двуглавой елью - это на радость будущую. А трехгла- вая - редкость, найдешь - родишь богатыря.

Все окружили остатки туши. Березов, Гулько и Андамиров взяли ружья в руки, нервно погладили ложа, потеряли ремни.

Вропский улыбнулся:

- Успеете настреляться. Дышите лучше, воздух ведь необыкновенный, мягкий и вместе с тем звонкий.

Вверх смотрите, пока голова не закружится.

Березов поморщился, сказал другу:

- Семен, не красуйся, поэт, не время и не место. Мы на охоте, самой древней работе рода человеческого, как мог бы сказать товарищ Терентьев.

- Красота - есть красота, она сильнее всего, даже изуродованная. Ты, Володя, ее боишься. И я могу тебе сказать почему.

Терентьев захихикал:

- Вече, вече!

- Хватит! Умники. Вперед!

"Да, Василий хорошо умеет приказывать. Ноги сами пошли, рты закрылись. А Терентьев не так уж прост". Шубина покосилась на шагающего рядом с ней Нефедова. "Он совсем не устал. Как железный. А Вропский хромает сильнее обычного. А как Владимир на меня смотрел там, около лося. Он меня ревновал, но не к Василию, а к Вропскому. Видит ли все это Василий? Нет, наверное. Да, наверное. Вот умру я здесь, кто-кто, а санитар мой будет рад. Не надо об этом думать. Думай лучше о Василии. О какой беде он говорил? Почему я так хочу с ним спать и почему что-то во мне стыдится этого? И чем все это кончится? Может, нарожать Василию детей? Смешно. Почему смешно, ведь что может быть проще?"

Вопль Гулько разнесся осквернением тайги:

- Река! Река!!! А-а-а-а-а-а!!! И-и-и-и-а-а!!! Я-я-я-я-я-я!!!

Во-о-о-н!

И все ощутили облегчение. Кроме Терентьева, заоравшего:

- Во-во, вон! Во-о-он! Отседова!

Наступившее молчание как бы очищало воду, делало реку желтовато-прозрачнее, медленное ее движение - более медленным. Безветрие лежало на воде, разглаживало, давило, плотнило ее, закрывало от смотревших на нее людей тайны, бывшие им известными в детстве, но они не считались тогда тайнами, потому и были забыты. Теперь тайны тень легла на людей странным очарованием и ушла надолго, может быть, до глубокой старости. Нефедов по-хозяйски опустил руку на плечо своей женщины. Шубина прижалась к его боку, ткнулась носом под мышку, ища родной пот. "Нет, не надо переходить. И здесь хорошо. Дорогой, милый мой, не надо".

- Будем переправляться. Чепуха осталась. Вон, видишь, яма-водоворот; там такие, как ты, русалки живут; вот бурун, туда нет ходу; слева - протока, а там - омут, а за омутом будет пережат, там по мелкоте и пройдем. На том берегу и начинается настоящая опушка настоящей тайги. На том берегу и станем лагерь. И перестань прислушиваться к себе; слушай зверя, птицу; слушай, как деревья растут.

Шубина чмокнула его в щеку, рассмеялась:

- Да ты философ.

- Я охотник. Слышишь? Это посвист рябчика. А вот то, далекое, бекаса, тут немного болотисто. Скоро глухаря услышишь. И по земле твари полно, от зайца до россомахи; даже сердитого оленя можно встретить, лося ты видела. Опаснее всего может быть медведь, хуже змеи, тише, коварней. Надо мотать на ус да держать ушки на макушке. Остановимся на первой же поляне. Я пойду первым.

Вода на пережате так и не достигла Нефедовых колен, чего хотел Березов. Когда мастер остановился на противоположном берегу под кручей, расставил ноги, будто овладевая землей, и спокойно закурил, Березов понял: в сапоги мастера вода не пошла, и он проклял воду и выругался про себя длинно и как можно грязнее. Подумал: "А что он может мне сделать? Ничего, разве морду набить. Но этим он подорвет свой авторитет, станет посмешищем. Это хамло на такое не пойдет. А если он меня заставит за водой ездить? Нет, ему работа дороже, раз, несмотря на указание отдела кадров, оставил на этом деле дурачка Терентьева. А Семен... пусть смотрит".

Березов подошел к Шубиной. "Устал, но сил у меня хватает. Лишь бы не отбивалась. Надо быстро".

- Тут все-таки глубоко. Мастер не выше вас, но длиннее. Если намочите меховые сапожки или как они там называются, трудно будет их высушить, да и простудиться можете. Позвольте.

Он бросил ее к себе на руки, вошел в реку. Смотрел на воду, чувствовал камни под подошвами и впитывал тяжесть тела этой женщины, смаковал каждую секунду, досадовал, что его нагруженные усилии мышц мешают ему ее почувствовать резче. "Я люблю ее. И Вропский ее любит. Посмотрим. У него все равно буду-

щего нет. Бедный Семен". Березов нарочито споткнулся несколько раз, и каждый раз тело молчаливой Шубиной прижималось к нему. Все глаза были устремлены на них, Березов это знал, и это знание усиливало радость от тайного обладания любимой. Он повторял это слово "любимая, любимой", глупое в Москве, насмешливое в Ленинграде, как произносят слово "вечность", когда верят в нее.

Березов, несмотря на легкую пухлость тела, был удивительно сильным. "Он меня не уронит. Усну, вот возьму и усну. Василий должен был взять меня так, перенести меня, усталую, без сил. Он знал, что здесь брод. Вот возьму и уткнусь Владимиру в щею, стану его Эрато. Или выйду замуж за Вропского; он нежный, он смотрит теперь на меня. А Василий курит себе... Но ведь... Он первым перешел, проверить, нет ли опасности, чтобы снова спасти меня, звери они тоже... Да, да, для этого. Вот он стоит, а если на него сверху... Тайга как джунгли, как океан с акулами. Не заплакать бы, никто ведь не поймет. Прости, прости, дура я, баба я. Я буду с тобой, всегда с тобой. И она не посмеет. Забыла о ней, не зря она дала себя тогда увидеть. Нет, тихо на берегу. Как все-таки хочется спать".

Едва Березов отпустил ее, она бросилась к Нефедову, подскользнулась, упала, с облегчением заплакала, радовалась обилию слез, их солёности, не обижалась на хохот Гулько и Андамирова, на остановившегося на середине реки Вропского, на взвалившего ее к себе на плечо Нефедова, на его смешок, на потупленный вид Березова. Так, держа на одном плече палатку, на другом - Шубину, вскарабкался по обрывистому склону Нефедов.

- Не плачь. Нога болит?

- Нет.

- Слава Богу. Будь осторожней, прошу тебя. Здесь одно лекарство - спирт.

- А ты, ты тоже мое лекарство.

Поднявшись, Нефедов резко обернулся к шедшему позади Березову - тот не успел спрятать раздевающий взгляд, и он с удивлением увидел немного виноватую усмешку мастера и услышал его слово:

- Молодец.

В растерянности Березов жалко и подобострастно

улыбнулся и вздрогнул от внезапного вопроса мастера:

- А где Кромов? Куда эта тля запропастилась?

Отстал?

- Я его не видел... да вот он, наверное...

- Ладно, пусть догоняет. Он вообще нервный.

Подоспевший Андамиров продолжал похохатывать:

- Конечно, нервный. Тут туалетную бумагу в химчистку не отнесешь. Он все время обсирается; помнишь, мастер, как он по пьяни штаны не успел стянуть. Кишки у него нервные.

К хохоту Андамирова и Гулько присоединился гулкий смех бурового мастера. Березову было слегка противно; все вокруг казалось как-то особенно чистым, целомудренным, но он ничего не смог с собой поделаться, хотя рядом с мастером стояла Оля - зародившийся глубоко в нем смех неудержимо рвался на свободу, вырвался. Вслед за ним не выдержал и Вропский; он всхлипнул, пробормотал: "Гротеск", - и залился. Кромов, услышав гогот, увидев дергающиеся как от боли лица, захихикал длинно. Шубина стукнула Нефедова:

- Да ну вас! - И сама прыснула.

Выстрел как бы резанул воздух. Все изумились, застыли, кроме Нефедова.

- Опять Лошадь балуется. Рыбу любит. Найдет яму с водоворотом, кинет хлеб и палит себе по рыбине. Вон уже идет. Колька, что нашел?

- Таймень Господь послал доброму браконьеру; с первого его достал, больше пуда будет, водичка сама и вынесла, и бегать не надо. Народ делает что хочет, а у меня есть петрушка, укроп, лавр, черный перец. Не наваливаться, просить культурно.

Кромов заявил:

- Глупо стрелять рыбу из ружья.

Гулько подумал вслух:

- Стреляют же из орудий по китам.

Вропский добавил:

- И по людям тоже.

Терентьев улыбнулся:

- Ну, а если рыба вкусная?

Прошли мимо озерца. Нефедов насмешливо крикнул:

- Уток не стреляйте, рыбой вонять будут.

- Уток не будет. Нет уже уток. Пр-р-р-р, улетели утки, как ты раньше, к теплу.

Нефедов круто повернулся к Терентьеву, посмотрел ему сурово в глаза:

- Не каркай, соловей, рассержусь. Есть еще утки. Понял?

Терентьев испугался, сник, начал бормотать извинения. Березов спросил за всех:

- В чем дело? Что такое? Что произошло?

Было достаточно одного слова, непонятно чем вызванного, но произнесенного особым голосом, чтобы все вновь почувствовали реальность власти бурового мастера - общий хохот, сделавший так недавно людей равными, был враньем. Вропскому стало грустно, раз достаточно подчас поиграть голосом, чтобы уничтожить свободу и равенство.

- Ничего. Вот распадок. Здесь и будет наш куст. Нет, наверху, - он указал на склон, росший клюквенными кочками. - Там нас не зальет.

Березов посмотрел на обессиленную вконец Шуби-иу, на Вропского, глядевшего на нее с нежной жалостью, узнал, поискав в себе, что не способен на такой взгляд. Сказал:

- Да, надо быть наверху. Всегда. Нет будущего для тех, кто внизу.

Он так и не узнал, услышал ли его Вропский. Но ему самому было в сущности жаль покидать эту зажатую холмами красивую поляну, покрытую кустами голубики, окруженную деревьями, похожими на ель, березу. А это, наверное, чигирняк, вот ягельник. Хвоя пахла вечной весной, трава - красивым засыпанием. "Но надо карабкаться наверх. Надо. Всегда. Но почему же я этого не делаю? Делал, не был бы в этой тайге, а в Москве, сидел бы у деда на Зорге и учился уму-разуму. Какое там! Семен, Семен, что же делать? И неужели ты не понимаешь? Мы же друзья, да, друзья. Вон он улыбается, будто читает мои мысли. А Ольга? Что же делать, старина?"

Палатку расставили быстро, буровой мастер бойко и умело руководил:

- Порядок. Пойду на ужин, рыбу пускай лошади жрут. Кто пойдет, тот пусть помнит: пуля - в левом стволе, "нулевка" - в правом. И бейте рябцов: они быстрее, чем глухари, варятся. И не забудьте подложить под спальник еловый лапник. Начало ночи теплое,

а к утру мороз. Вон, слышите, это рябчик свистит. Валайте, а то скоро стемнеет.

Он подошел к сидящей на сушине Шубиной:

- Ты ляг вот на спальник, отдохни, поспи. А завтра, хочешь, Терентьев тебе удилище смастерит, снасть всегда с ним, порыбачишь на озере, у реки. Как ты устала, а я, дурак, не подумал, привык, наверное, думать, не думая, что как я, так и другие, иначе никто ничего делать не будет. Деньги и удовольствие все любят, а что эта любовь трудно добывается, знать не хотят, от нее да от себя прячутся. Черт, объяснить толком ничего не могу. Ну, я пошел.

- Береги себя. Будь осторожным. И... не оглядывайся, когда убьешь кого-нибудь. Меня не будет, но кто знает, может, она привыкла...

- О чем ты? Ты ляг, ляг. Кто знает, Лошадь все пророчит...

Не пройдя и километра, Нефедов сдублетил птиц. Нашел теплые тушки. Хорканье белки рассмешило его. Она сидела, не испуганная присутствием человеческой жизни, на нижней толстой ветке корявого дерева и, будто небрежно облокотясь об ствол, что-то спокойно говорила. Нефедов шагнул. "Ну, чего ты, я же охотник, человек". Белка не шевельнулась.

- Глупая ты, белка, мало ли что не нужно мне. На охоте убивать - святое дело. Дура ты. Работать надо, а не баклуши бить, поняла, сучонка? Зима придет, лапу будешь сосать?

"А может, оттого она такая спокойная и уверенная, что уже впрок заготовила. Знает: ей уже не страшен белый черт? Не может быть, тепло же еще. Тьфу, блядство". Внезапное желание убить разговаривавшую с ним белку Нефедову не понравилось. Он отвернулся. "Мишку бы найти. Их полно здесь. Или лося. Лучше завтра. Или послезавтра". На всякий случай Нефедов зарядил один ствол жаканом, другой - нулевкой. Услышал близкого глухаря, вскоре угадал его взглядом. Тот замолчал, и Нефедов застыл. Началась игра, в которой мешают само дыхание, каждый непослушный нерв. "Надо в голову, голову".

Вечер, прежде чем почернеть, удивительно светлел последним взрывом дня, рассыпался бликами меж деревьев, баловался лучевыми искрами у ног Березова.

"Скоро навалится ночь. День здесь как в землю уходит. Свет как вода. И воздух поет запахами. Спишь, не слышишь колыбельную, и все равно слышишь, как поет детство более детское, чем оно было на самом деле. Или я слышу, что слышал до рождения".

Березов забыл об охоте, шумно дышал, полузакрывал глаза. Умиротворенность, давно им не испытанная, гладила его, а он гладил стволы. Нервное напряжение последних недель уходило и растворялось в тайге. Все казалось ему не обновленным, а новым, еще лишенным обязанностей, долга, оправданий, нужных и ненужных. "Светка сидит, наверно, за своим любимым столиком на Арбате. Если с ней молодой из необученных ругает власть, смотрит насмешливо-страстно и говорит, дураха, взглядом, мол, целовать будешь или, как тебе положено, арестовывать? Поцелуешь, могу в морду врезать; арестуешь, так папенька мой, сволочь, сам тебя посадит или из милости да по моей просьбе пошлет тебя туда, где картошка не растет. А если Светка одна, нажрется шампанским и поплачет, тихо, для себя, о себе, и станет на время некрасивой - чтобы еще больше себя пожалеть. Вот думаю о тебе, а другую вижу и не дам эту другую ни мастеру, ни Вропскому, особенно Семену не дам. Не может он победить: ни здесь... ни там. До чего же хорошо. Ничего никого тут задеть не может. Я и себя не могу мыслью оскорбить, усовестить". Березову не хотелось думать о себе плохо, хотя знал: это часто доставляет особенное удовольствие, дает глубину чувствам, крайность желаниям. Он подумал о Светке, о Москве, чтобы убедиться в своем нынешнем блаженстве. Удостоверился. Ухмыльнулся небу, постепенно скрывающемуся. Проходя по краю глубокого оврага, Березов дурашливо заглянул в него и тут же подумал о своей несерьезности, о дураках, себя погубивших от чрезмерной самовлюбленности. "Работать надо, гулять будем после, после перевыполнения плана. Но Селиванову больше не трону, даже по работе, даже чтоб уснуть, даже чтоб женщину не искать... и мастеру нужно будет все сказать. Скоро. Неужели он не догадывается?"

Березов не дошел до конца оврага. Его толкнули в спину два кулака, когда он рассматривал впившиеся

в землю толстые корни, держащие свое дерево почти над пустотой. "Еще один оползень, еще чуть осыплется под ними земля - и дерево упадет". Кулаки быстро, нервно сбросили его в овраг. Падая, он догадался: у дерева, даже горизонтально живущего над далекой внизу землей, не может быть кулаков; следовательно, его хочет убить человек. Овраг был более пологим, чем казалось сверху, и менее глубоким. Березов катился долго; на полпути его задержало нечто, ударившее локаво по позвоночнику. Вновь показалось, земля-тайга хочет его уничтожить. На лице одна за другой появлялись ссадины, царапины рисовали узоры. Наступившая неподвижность тела была мертвенной - тело было чужим, оно не принадлежало больше Березову. Он укусил губу, обрел от боли зрение, сорвал пальцами пласт хвои с перегноем. "Я скоро тоже буду им. Пора прощаться с собой". Он попытался рассмеяться, хотя бы застонать. Не было ни нужного страдания, ни обреченности. "Сломана спина? Надо попробовать пошевелиться. Надо напрячь что-нибудь там в себе, приказать ногам. Надо закричать, позвать на помощь". Наверху корни продолжали держать дерево. Березов представил себя скелетом, себя, смотрящего с любопытством на свой скелет. Он напрягся, легко сел, с наслаждением ощутил всего лишь легкую боль в спине. Ожидание смерти мгновенно стало далеким воспоминанием, превратилось в неясное ощущение. Березов постарел за эти растянутые жизнью секунды больше, чем за те мгновения, когда убивал Васькова и остроносого. Кожа лица после отметит случившееся нужной морщиной, черточкой у глаз, прибавит выражению лица жесткости, глазам - иронии. "Может, за этим меня и послали, не за Семеновом? О чем я думаю, дурак. Ведь..." Те кулаки могли разжаться, стать пальцами, взять ружье. Человек мог подождать, хотя бы для удовольствия поглядеть на врага сначала умирающего... и, убедившись в своем невезении, постараться наказать добрую природу, неглубокий овраг, удачное падение. Дробь или жакан могли, несмотря на наступающую ночь, найти Березова в прошедший миг, в наступающий, сейчас. Ближайшее дерево было в нескольких метрах. Нужно было доползти до него. Стать на четвереньки и руками-ногами... Сверху могли смотреть на него насмешливые глаза.

Ночь. Где она, шлюха неторопливая? Взгляд врага мог быть уверенным, выстрела никто не услышит, да и что естественнее выстрела на охоте... Березов - рябчик, глухарь. Кабан, кабан. "Я с клыками, так просто меня не возьмешь. Нет. Запросто, стоит ему только нажать на курок". Захотелось воды, нет, водки. Целый стакан. Без закуски. Спирта. Чтобы были слезы и белый рот.

Березов встал. Спокойно, не спеша, как встают не со стула, а из глубокого кресла. Потрепал рукой одежду. Поморщился. "Это я переигрываю. Это уже совсем ни к чему. Вполне можно было без этого обойтись". Начал карабкаться, глядя то под ноги, то вверх. "Он, наверное, хочет в упор. Чтоб я опять покатился, но - наверняка. В голову? В грудь? Я бы - в голову. Лучше всего, только нужно не волноваться". Добравшись до чудных корней, схватился и, подтянувшись, выглянул из оврага. Только оказавшись на месте, с которого его хотели убить, Березов затрясся от страха и ненависти. С буровой упал, едва его не задев, тяжелый гаечный ключ. Это было с месяц назад. Несчастные случаи на буровых были делом обычным, считались чем-то вроде болезней - медпомощь запаздывала или вовсе забывала прибыть, и люди часто умирали. Еще больше умирали от всамделишных недугов. В почете была медвежья болезнь: кровавый понос гасил жизнь с точностью и размеренностью налаженного механизма. Березов привык быстро и не обратил внимания на гаечную болезнь. Затем, одной ночью, на него едва не наехал трактор. Березов подумал, балуется пьяный Терентьев. Успев откатиться в сторону, он обматерил невидимого водителя и, плюнув на едва не нашедшую его тракторную болезнь, пошел спать. Но наутро все же изматерил Терентьева; тот, покивав-помотав лошадиной головой, сказал: "Ночью только совы не спят, но и они не пьют, потому как сельпо закрыто. Да и что - ведь цел, так о чем беседа. Вот убили бы, поговорили бы маленько. А так молиться нечему".

Теперь Березов понял: не Терентьев был тогда у рычагов. Вропский? "Убью. Раздавлю. Как клопа. Но медленно. Я им покажу... Не им, ему. Нет, им всем, они все заодно, все враги, все хотят меня убить. Господи". Скрючившись под деревом, он обнял ствол и

вновь затрясся - уже от нервных рыданий. Все было против него, но он, он... Мысли цеплялись за уже существующее решение, никак не могли зацепиться. "Быть против всех - таков наш удел. Ты должен это помнить, как и то, что не всегда и не всюду можно заставлять людей делать необходимое. С этими сучьими детьми нужно быть осторожным. Надо знать историю, настоящую, чтоб это понять. Иногда можно заставить людей покориться тебе собственным унижением". Березов повторял слова отца и удивлялся своей памяти: он как будто всегда посмеивался над потугами старого козла, его умствованиями. Было глупо думать об отце, когда по щекам его еще текли слезы страха. "Ну да, страха. Не я убью, а меня убьют. Это я беспомощен, не они... не он. Выстрел. Ни одна собака не найдет. Мало ли что, пропал человек, только и всего. Поищут час, скажут, что искали трое суток. Неужели Семен?" Березов уже знал, что не верит в виновность Вропского. "Нужна тактика, гарантия безопасности. Нужно остаться в живых". Рука, еще слабая, нащупала под подкладкой полузабытое удостоверение и от прикосновения к нему начала согреваться.

Горел богатый костер, рос, широкий, свежий, смеялся искрами. Холод тронул Березова за горло, пошел по нему всему, напомнил лишний раз о нежности и слабости человеческого тела. Одна искра взвилась, ядовитая яркой усмешкой; другая - добродушно поднялась. Надо было пойти туда, выйти, открыться. Он пошел. По Березову полоснул гнуснее, чем веселье огня, хохот людей. Березов замер. Вропский рассказывал о Пушкине:

- Я точно знаю, из триппера буквально не выходил. Страдал неоднократно французскими болезнями.

Березов громко переспросил:

- Трипперочком? Врешь.

Вропский смутился. Лежащая со всеми вокруг другого, маленького костра Шубина театрально махнула рукой:

- Из песни слов не выкинешь.

- Что ж... страдал. Одна блядь его к себе не пускала, боялась заразиться; после выдумали - не хо-

тела заразить. В нем бес блуда сидел, с сестрой жены валялся. Ни во что не верил Александр Сергеевич. Он даже список шлюх своих накатал.

- Завидуешь?

- Конечно, завидую.

Шубина, поглядывая на жарившиеся тушки, спросила игриво:

- Ну-ка, объясните, да-да, объясните свою зависть.

Гулько расхохотался:

- Ходишь в ракоряку, орешь в гальяуне, идешь на шприц, со всех дыр хлещет - есть от чего слюнки глотать. Давайте лучше жрать.

Андамиров смешно скривился:

- Все равно аппетита человечеству не испортишь, не старайся, не то мы ишо видели. Только все-таки странно услышать такое о Пушкине. Как-то не сходится.

- С тем, что проходили в школе?

- Ну... ну да.

- А ты подумай, может гениальный поэт баб любить или не может. И почему тебе об этом не сказали. А завидовать гению хорошей завистью всегда нужно, и тому, что "потомок негров безобразный" нравился женщинам. Не всегда побеждает глупая красота. А что до триппера... дешевая плата за удовольствие, - Вропский запнулся, добавил: - От настоящей любви триппера не бывает, бывает от блядей.

Нефедов встал. Березов посмотрел на него, огромного, с надеждой и решил пойти к костру. Нефедов гаркнул:

- Чего тайга не услышит. Триппер от всего бывает. Снимайте рябцов, готовы. Правильно я говорил, нечего глухарятину варить-жарить. Терентий, твоя рыба готова?

- Так точно. Поет. А что касается вашего Пушкина, блядство у нас было, блядство и осталось. Только и всего... э, гляньте, вон он, жив курилка, к горячему поспел. Я же говорил: городскому месту на городском помосте, нечего природу портить... Хочешь рыбки, красавец?

Шубина пригляделась, вскочила, подбежала, подержала:

- Что с вами? Ты бледный как смерть. Мы все волновались. Иди к огню, погрейся, поешь.

Нефедов заорал:

- Ты чего его жалеешь?! Я те, сука, покажу! Выгону с куста! Ты знаешь, я за тебя отвечаю? А?!

Вропский подбежал с другой стороны:

- Держись, Володя. Что произошло? Мы беспокоились. Я от волнения городил что попало. Слава Богу. Сядь. Нет, лучше ложись, поешь.

Остальные уже не обращали внимания на Березова. Кромов усердно жевал.

- Тебе надо переодеться. Да грейся ты, грейся. Мастер, дай спирту.

Березов посмотрел снизу вверх на Вропского, на Шубину и только отчаянным усилием воли сдержал слезы. Были ли в них благодарность, злоба на себя, на других, любовь, покаяние, обреченность, он не знал и знать не хотел.

По прибытии на вышку Березов быстро подружился с Вропским. Увидев вечером в чужих руках книгу, похрамывающий механик восторженно, полюбовался редкостью - читающим человеком. Ладони новичка были разодраны, поэтому книгу он держал как бы бережно, с осторожностью перелистывал. В бараке воняло портянками, мочой, устоявшимся потом, в общем некрасиво отдыхающими людьми. Березов ощутил взгляд, посмотрел и прочел в нем удовольствие. Он повернул книгу так, чтобы было видно название. Вропский быстро подошел, воскликнул:

- Вот это да, "Мастер и Маргарита" в этой дыре!

Они долго говорили о Питере, и оба решили, что нет страшнее преступления, чем безволие, безразличие, попустительство, страх сильного перед слабым. Вропский принес мазь для рук и бутылку водки, Березов вытащил московские сухари и сухую колбасу. Барак храпел вокруг них, захмелевших и счастливых.

- Глупо убивать, гнать, сажать поэтов. Вы заметили... Березов, что...

- Давай выпьем на "ты", а то, наверное, человекоподобные не поймут, будут говорить, что мы на марканы задаемся.

Вропский серьезно согласился. Они выпили, расцеловались. Березов сжал плечо нового друга:

- Знаешь, Семен, искусство может быть самой изумительной, но и самой опасной штукой на свете. Платон это знал.

Вропский отшвырнул Платона брезгливым движением:

- Подумаешь. Он был утопист и не любил непредвиденное. Нет худших бюрократов, чем утописты. Поэты создают красоту. Они никому как будто не мешают, никого не пугают. Они сами беспомощные. И не делают зла. Оставили бы их в покое. Так нет. Грустно это, Володя, грустно.

Березов заглянул в стакан:

- Да. Грустно. Но ты смотришь на поэзию глазами поэтов. Я тоже так делал. Бабушка учила. Она говорила, что наша культура создана поэзией, проза пришла после на все готовое. Я сам писал плохие стихи и мечтал. Только после постарался взглянуть на поэзию глазами ее преследователей, ее так называемых губителей...

- Так называемых?

- Она же жива. Взгляни на поэзию глазами власти. Что такое она? Это сжатое до предела слово-мысль, в котором живет музыка. Поэзия очаровывает и не требует длительного усилия; она быстро вселяет в человека сомнение к существующему и доказывает ему, что настоящее - отвратительно. Каждый, не вдаваясь в образование, расшифровывает для себя тайные звуки, находящиеся в как будто простых словах. Поэзия заставляет мечтать не о чужой, а о своей жизни - и она легко запоминается. Будучи на службе власти, поэзия, заметь, сразу тускнеет. Ей нужно питаться свободой, ей необходимо уничтожить порядок, каким бы он ни был. Никто не знает, какое расстояние лежит между поэзией и бунтом людей, которые никогда поэзией не интересовались. Власть считает, оно - небольшое, часто нужен пустяк, чтобы поэзия чудесно оправдала, облагородила жажду людей изменить свое положение. Я уверен: для власти талантливая поэзия - политический противник.

- Какой власти?

- Любой. Дело только в силе власти. А наша - сильная.

- Но поэзия все равно сильнее. Ты же сам сказал: она жива. Но я не думаю, что ты прав. Власть, как ты говоришь, не так уж много думает, она чаще всего следует инстинкту и, не разбираясь, борется с непонятым ей, опасно оно или нет. Она пытается все контролировать. А по-настоящему контролировать можешь только то, что ты в силах уничтожить. Поэзия неуничтожаема... вот и рождается бессмысленная злоба.

Березов разрывал птицу, жадно ел, запивал спиртом. Рядом захлебывался Гулько:

- Я ее срезал с первого выстрела, вдарил - вверх тормашками! А потом со второго ствола - наповал. Вот это охота! Как в заповеднике, как начальство. Как когда-то Хрущ и Кастро. Стал - и пали.

Шубина спала, ее лицо мило выглядывало из спального мешка и, освещенное большим костром, казалось Березову самым желанным на свете, доказательством его будущей жизни, удачи. "Я ее обниму, буду с ней лежать, долго и неподвижно, а потом... а потом я на ней женюсь - и буду жить. Почему я вспомнил о моей первой встрече с Семеном? Потому что он заговорил о Пушкине, поэзии и гении. Он вспомнил тот разговор, Семен вернул его из былого, думая, зная, что я уже не вернусь из тайги".

Березов раскохотался набитым ртом, куски дичи полетели в ночь. Спирт бесил кровь. "Неужто сам Семен меня толкнул? Нет, он знал, он только знал или догадывался... А почему не он? И как он мог найти сообщника? И кто?" Березов тихонько распорол подкладку куртки, достал удостоверение. Нефедов продолжал есть, раскидывая далеко по сторонам кости последней поджаренной птицы. Большой костер грел, но за его светлым теплом угадывалась холодная темнота. Березову нужно было пойти туда вместе с Нефедовым. Он переборол страх, встал на ватноватых от спирта ногах. Подошел, тихо сказал:

- Мастер, поговорить надо. Отойдем.

Нефедов присел, вытер руки о землю, понюхал воздух:

- Ну чего? Устал? Где ты так умудрился свалить-

ся? А если б сломал что? А? Пришлось бы таскать тебя до тягача. Ну?

- Отойдем.

Нефедов пожал плечами, шагнул в темень тайги. Ему уже хотелось спать. Выпив кружку спирта, он решил было разбудить Ольгу - руки в нетерпении обнять ее задрожали. Но она спала так крепко и безмятежно, что стало как-то неудобно, и Нефедов решил подождать до следующей ночи. Он стал заглушать свое желание спиртом, мясом, швырял кости, улыбался своей добротой, чуткости к Ольге. И вот только начал подползать хорошим ужом сон, как приплелся этот белобрысый балбес со своими несчастьями. "Начнет жаловаться: то-то не то, то-то не так. Нашел время".

Нефедов остановился. Березов протянул ему удостоверение и посветил недрожжащим фонариком так, чтобы мастер мог видеть удостоверение, а Березов - лицо мастера. На нем мелькнула растерянность, сменившаяся вспышкой недоумения. Мастер повертел головой, потом удостоверением, снова влез в него носом. Березов выдерживал молчание. Он увидел, как лицо человека, от которого, по всей вероятности, зависело, будет ли он через некоторое время живым или мертвым, приняло резкое выражение неприязненной суровости и зачерствело:

- Что это значит?

- А то, что я из ГБ.

- И что же делает старший лейтенант ГБ на моем кусте и на моей охоте?

У Березова чуть не вырвалось: "Я тебе покажу, ты у меня узнаешь охоту и вышку - вышку я тебе устрою". Этот обычный допросный прием погубил бы его, вызвав злобу сильного к беспомощной наглости. "Глупо в тайге собаке на волка лаять". Темнота была плотной, душила свет фонарика, была со всем и всеми против Березова. Он постарался ответить нейтральным голосом:

- Выполняю задание особой государственной важности. Задание строго секретное, но вам, мастер, я вынужден открыть... рассказать. Вы слышали о листовках антисоветского содержания?

- Ну?

- Мне приказано найти государственного преступ-

ника и обезвредить его... арестовать. И найти сообщников... если они есть. В управлении любят, когда есть сообщники, но их все равно может ведь и не быть, правда?

Березов продолжал видеть лицо Нефедова, оно не изменилось, и губы невозмутимо зашевелились:

- И что, лейтенант, нашли вы своего преступника?

- Да. Это - Вропский. И вот еще что: я не упал сегодня, меня толкнули, пытались убить. Ты знаешь, что это значит и чем это пахнет?

- И это он пытался, лейтенант, тебя кончить? Он же твой кореш, разве нет?

В голосе мастера было презрение, много отвращения, но еще больше чего-то особенного, окутывающего слова человека, когда он проявляет готовность выполнить неприятный приказ, и это успокоило Березова.

- Дружба дружбой, а работа работой. И приказ есть приказ.

Нефедов машинально кивнул. "Пусть кивает почаще. Пусть привыкает со мной соглашаться".

- ...А насчет попытки к убийству - нет, не думаю, что это дело рук Семена. Ты его, мастер, достаточно знаешь, чтобы согласиться со мной: Семен не трус, он даже смелый, но он не терпит грязного насилия; он, сам видел, разнимает людей, даже если ему за это перепадает.

Нефедов кивал. Вдруг встрепенулся:

- Ты уверен, лейтенант, что тебя толкнули? Мало ли что не померещится с перепугу. И уверен ли ты, что Вропский калякал эти писульки? А точно ли ты знаешь, что преступление эти листовки: он в них о разных правах заботился, особенно против власти не шел. Что-то у тебя все вилами по воде написано; в тумане, лейтенант, бродишь, дальше носа не видишь. А?

Березов постарался вложить в свои слова как можно больше мягкого дружелюбия:

- Поверь мне, мастер, в ГБ не шутят. Даже если мягкие времена пошли. И подумай: если толкнул не Семен, то это сделал кто-то другой. Что закрался к тебе на вышку один политический преступник, это еще ничего, ты его вполне мог и не распознать, но если речь пойдет о двоих-троих, то пришлют организацию, и тогда...

Раздавшийся шорох-шум, треск веток был сильным, и он вонзил в Березова страх, ему захотелось упасть на землю и сжаться в комок. Страх был настолько сильным, что стал апатией. Он тускло спросил:

- Зверь?

- Нет, человек. Кто-то подслушивал. Теперь лейтенант, нет больше тайны. Что делать будем? Пога си фонарик. Я еще у тебя не на допросе.

Они стояли как бы в черном облаке, будто ночь была только вокруг них, а шагнуть в свет было некуда. Дрожащая рука ткнула уже давно, по странному здесь существующему времени, фонарик куда-то вниз, в землю, казалось - под землю. Березов победил, раз стоящий перед ним огромный и всемогущий человек спросил у него совета, согласился, отступил, решил быть на его, Березова, стороне, на стороне власти, порядка, государства. И все равно Березову уже не хотелось света дня, победа была сожжена в нем страхом. "Я, может, уже седой. Говорят, седые виски - это красиво. Мама удивится, козел хлопнет по плечу".

- Чего молчишь? Что делать будем, я говорю?

"Его совсем не видно. А зачем? Буровой мастер может быть и невидим. И Семен тоже. Ночью в тайге не арестовывают друзей-невидимок. Сказать бы это деду, так старик, наверное, побегал бы по кабинету и, вновь повесив на стенку портрет Берии, заявил бы: у нас и невидимки признаются. О чем это я, о чем это он? Ну да, что-то надо сказать и сделать. Снова надо выходить к костру. А что, холодно, спирту - и спать. И чтобы все там у костра слепыми были".

- Что делать? А ничего. Вернемся на вышку, ну и, значит, мы с Семеном с вами попросаемся и уедем. Так, что ли? А пока лучше, чтоб я с тобой, мастер, был, чтоб ты моей гарантией был. Все будет спокойно, мирно: никто меня не толкал, убивать не старался. Будет Семен, Семен, и только Семен. О твоём кусте, о ребятах можно только упомянуть. Темно здесь, правда?

- Таежная ночь. Что же ты хочешь, чтобы мы завтра поутру потопали назад?

"Испугался, страшно стало, торопится от нас с Семеном избавиться. Вот-вот, нигде нет твоей власти, мастер, нигде: ни на вышке, ни в тайге. Иллюзии твои я верну, пока другой с удостоверением не подойдет.

Почему это я так спокойно и медленно думаю? Мне же было только что так страшно! А что если я сошел с ума? Нет, я бы тогда об этом не знал".

- Останемся еще дня на два, на три. Так безопаснее. Элементарная психология. Тот из нас, кто пытался меня кончить, психует теперь зверски. Это он второй раз пытается. Или третий. Помнишь, когда меня чуть не задавил Терентьев? То не он был, а - Он. Да и Терентьев, если бы захотел, убил бы; он бы не промазал. Как ты думаешь?

- Не промазал бы.

- И ты бы не промазал. Как думаешь... Не хочешь, не отвечай. Тот, кто толкнул, - парень без особого характера. И не блатной. Иначе пырнул бы ножом, спрятал бы труп - и дело с концом. Нет, он - истерик. Толкнул и убежал. Надо его успокоить, дать понять, что ему ничего не угрожает, но что не следует ему теперь торопиться меня убивать. А если мы поспешим, то и он подхлестнет себя нервишками, дурить будет, может меня и себя застрелить, мало ли... Подождем, а?

- Подождем; тебе, лейтенант, видней.

Березов стоял, потоптался и шагнул резко из невиди к кострам. В глазах людей были любопытство и боязнь. На красных лицах маячили желтоватые блики, застыла гримаса отчуждения. "У Ольги, вот, еще презрение ко мне, как у дворянки к жандармскому офицеру. А у Семена укора больше, чем страха, неожиданности, интереса. Он знал, ждал. Ладно, надо работать и помнить: мы не в Москве". Нефедов стоял рядом с ним, хмурый, с по-бульдожьей сжатыми челюстями и остекленевшими глазами. "Он уродливей всех," - подумал Березов и вздрогнул от лающего голоса бурового мастера:

- Чего разинулись? Кто подслушивал? Сгною, бл-ляд-дь! Чтоб ЧП не было, ясно? Ясно?!

Последнее слово Нефедов заорал так, что, казалось, заколыхались костры. Наступившее молчание было нестерпимым для Березова. Гордость зажила в нем с бешенством. Он вытянулся во весь рост. Желание их всех расстрелять, потом выпить и лечь спать показалось необыкновенно приятным. Тело заболело от напряжения. Вдруг Нефедов наплевательским шагом подошел вплотную к большому костру, картинно погрелся, под-

мигнул просто Шубиной, вышло - отвратительно, хлебнул спирту и лег, закуривая.

Нефедов вновь стал вождем племени, и вновь это почувствовали все. Власть не стояла перед кострами почти в растерянности, а спокойно лежала с папиросой в зубах, и взгляды, обращенные к Березову, перестали быть любопытно-пугливыми, в них стала расти цепкая недоброжелательность. Шубина заметила только - у нервного Кромов закрыты глаза, запрезирала человека и уставилась нагло на гебиста. Андамиров потянул к себе бутылку со спиртом, повторил жесты бурового мастера, но на его лице отразилась борьба, губы зашевелились, словно он хотел что-то сказать, а они не позволяли. Наконец выдавил:

- Что? Ну что? Как же все это так?

Терентьев ответил, гладко рассмеявшись:

- А так. Лягавым место как раз на охоте... только вот собака без хозяина. Где твой кабинет, начальник, где острог?

Все уставились на хитрое лошадиное лицо Терентьева. Кромов оскалился. Глаза его были широко уже открыты и жили ненавистью. Нефедов покуривал. Вропский продолжал грустить. Гулько глядел на Терентьева и не верил. Шубиной пришел на ум Бог.

Березов поднял руку по-римски:

- Хватит. Я - лейтенант ГБ Березов. Выполняю задание. Вам лучше в это дело не вмешиваться. Оно касается меня и Вропского. Я сегодня свалился в овраг. Оступился. Никто меня не толкал. Больше такого не будет. Если б убился, вас всех заподозрили бы. А в ГБ шутить не привыкли. Да и вместо меня десятерых пошлют. Никто никуда не денется, никто никуда и никогда не девается. Думаете, мне приятно? Но и я ведь никуда не денусь. Всех, и меня найдут. Подумайте, вместо меня десятерых пошлют.

"Теперь надо подойти к Семену. Если он мне врежет, то - конец, все набросятся, и мастер не спасет. Неужели Терентьев толкнул? Если Семен примет все как судьбу, если будет покорным, тогда я почти спасен. Господи, если Ты существуешь, сделай, чтобы Семен мне не врезал. Сделай".

И Вропский не ударил. Лишь печально понаблюдал за подходившим печальным Березовым. Он скорее наблю-

дал за собой. "У меня нет шока. Быть арестованным в тайге во время охоты. Смешно. Драма на охоте. Остальные ложатся спать и будут под утро видеть сны. Я уже для них прошлое. А ведь ради них всех буду осужден. Рабы они, как были крепостными, так и остались. Вот и Оля ушла в палатку. Падает занавес. Катя в суд не придет и Юшку не приведет. И забавно все-таки, что я ни о чем не жалею. И еще забавно, что я на Березова не сержусь, хотя он, конечно, мог мне все сказать уже давно. Или хотел, но не мог? Я же догадывался..."

- Я же догадывался, что ты на буровой неспроста.

Березов не ответил. Было тихо на бесхляповом ночлеге; костры дышали без треска; шум тайги и жизни в ней был слишком постоянным и ровным, чтобы отвлечь человека от мыслей о себе. Из Березова уходила, ушла опасность; опустело в нем все, боровшееся еще только что за существование, за право дышать и кусаться. Он никому не желал зла, никогда по-настоящему не наслаждался силой, властью. Были помутнения, были, но он никогда не был сволочью. Об этом знал отец, знал дед, знали друзья отца. Потому и послали его сюда. Чтоб перестал быть несволочью. Они знали, что делали, знали, знают. Рядом сидит Семен. Скоро будет сидеть на привинченном стуле, на скамье, на нарах. А Семен стал его другом. Не просто приятелем. Они стали понимать друг друга с полуслова; им приятно быть вместе долго, друг дружке помогать, слушать, спорить, делиться чем Бог послал, пить; они любят красоту, они верны принципам, пусть разным. А сколько всего, для чего еще не придумано слов. Были убегающие друг от друга и от самих себя тайные Березов и Вропский, но они не мешали. Теперь они рядом, и мир стал таким, каким должен быть. Упорядоченным.

- А Оля? Она тебе нравится?

Вропский ответил ровным голосом:

- Нравилась. Она мне кажется сейчас чем-то уже прожитым.

- Чего ты себя заживо хоронишь? Тебе трудно, но будущее существует.

Вропский поднял голову к большей черноте мира:

- Я уверен, ты прячешь глаза.

- Прячу. Я же не мог знать, что мы станем не

просто так, а друзьями. Но я только орудие. Не я, так другой пришел бы, это я правду им сказал. И нужно было тебе играть в героя.

- Нет. Героем я никогда не был и не буду. Слишком ленив для этого. Я просто иногда не выдерживал веса того, что я знаю, что понял. Взорвался бы иначе, задохнулся бы или чего-нибудь еще. У меня все это было, как судороги.

- Гордыня у тебя была. Хотел быть лучше всех. Чувствовал себя небось сверхчеловеком, один пер на государство, на власть. Возвышался, парил, чувствовал себя полубогом. Знаем мы таких!

Вропский громко усмехнулся:

- Вот ты и заговорил как гебист, давно пора, а то, чего доброго, начал бы тебя жалеть...

- Себя пожалей.

- ...Успею. Не любите вы людей. Для вас гордость - преступление, а смирение - необходимость. Но ты, ты-то как же пошел на такую работу, ты же по-настоящему интеллигентный человек. Это же уродливо.

Березов устало ответил:

- Уродство, красота - эти слова употребляют поэты, когда им нечего сказать. Лучше скажи, знал ты, что захотят меня сегодня убить?

Молчание длилось слишком долго. Они оба услышали время, и все остальное перестало быть значимым.

В спорах-разговорах Березов был всегда пессимистом, и Вропскому это нравилось. Он воскликнул патетически:

- Кто остановит жадность восприятия в человеке?

И Березов ответил:

- Власть, помноженная на власть и еще на власть. Вспомни трость Фразибула. И они оба толком не знали, кто же нападает и кто защищается.

Наконец Вропский встал и, глядя сверху вниз на Березова, замотал головой:

- Не могу тебе ответить. Сам не знаю. Хочу спать. Спокойной ночи, Березов. Узнаю, если сам себе признаюсь. И скажу. Тебе. Будешь наручники надевать? А вдруг убегу ночью к тягачу? Ладно, ладно...

В спальном мешке было тепло, земля была нетверда. Он услышал, как Березов встал, сильно подышал, как вошел в палатку, и только тогда себе признался,

что не может до конца поверить, что Володька - гебист. С этим дурацким признанием он и уснул.

Шубина повздрагивала, тело отталкивало мысли: "Это он, он. Кто бы мог подумать? Он в поселке, тогда, и ухом не повел. Каждое слово жгло. Как он говорил о правах людей! Клочок бумаги в Богом заброшенном поселке, и на нем коряво: все надежды человечества на лучшую жизнь. Вропский, Вропский. Значит, такие люди существуют, продолжают существовать. Я бы не поверила, не зная его, сочла бы такого человека безумным. Как там было... не могла же я забыть, что Вропский написал. Да, да, там было: "Нужно требовать соблюдения свободы слова и печати, гарантированных конституцией, нужно право на правду". Там еще, еще было... что же там было... "Мы все нуждаемся в моральном, социальном, религиозном возрождении, в вере в себя и свое будущее". И это написал Семен, который вот тут рядом, который смотрел на меня еще сегодня жадно и нежно. Его теперь арестуют, посадят, замучают, сошлют. Я никогда больше не встречу такого человека. А вдруг он покончит с собой? Нет, он не такой. Я пойду за ним на край света, как жены декабристов. Я сейчас пойду к нему, я его утешу. Он будет счастлив. А там будь что будет".

Но большой костер все не хотел догорать; он все светил, превращая тайгу в мигающую тень. Шубина сморщилась - удовольствие от восторга самопожертвования становилось обыденным. И мешала тень, тень от тени, тень-тайга. Нельзя было при свете бесшумно проскользнуть к Вропскому, прижать ладошку к его губам, втиснуться отчаянно в спальный мешок и, зажмурив глаза до сладкой боли, пожалеть его, наполнить его собою, прогнать страдание настоящего и ужасы будущего, облагородить, несмотря ни на что, род человеческий. Но... Нефедов! И тень. Та тень-смерть-старуха! Она здесь. Она, верная, не переметнулась ни от Нефедова к Вропскому, ни к этой сволочи Березову. Что делать? "Не могу предать Васю, себя предать. Господи, помолиться, что ли, Тебе?"

Не успела. Увидев внезапно появившегося перед костром бурового мастера, Шубина не удивилась, словно он должен был заслонить собой спящего Вропского, прикрыть собой большой костер, топтать догорающий

малый, уничтожить ту тень своей, гигантской, спасти себя, ее, всех... Нефедов уже исчезал. Он крепко держал человека, одной рукой зажимая ему рот, но Шубина все же узнала барахтающегося Анатолия Кромова. "Я же его совсем не знаю, а вот - узнала сразу, хотя ночь и лицо его закрыто Васильевой ладонью. Так надо, наверное. Но куда он его тащит? Для чего? Мне страшно? Страшно. Но я должна пойти, должна узнать. Кому должна? Надо закрыть глаза, уснуть. Боже, как хорошо мне раньше жилось".

Шубина осторожно выбралась из палатки. "А все остальные спят, словно мир вокруг, словно все-все - не железом по стеклу, словно я не умру". Страх стиснул ребра, прошелся по животу. Она вытянутыми руками все отворяла дверь из темноты. "Ребенка хочу. Хочу родить. Большой живот хочу". Тихий голос Нефедова остановил Шубину, заставил присесть.

- ...Повторяю, не шурши, не лезь на рожон.

- Нет. А что я...

- Не якай. Знаю тебя как облупленного. Салага-гебист пусть ищет-гадает, а мне гадать нечего. Ты его толкнул, только ты, псих, мог на это пойти. Даже толкать не умеешь. Думать надо. Ты хочешь, чтобы они пол-Москвы сюда прислали? Думаешь, тебя настоящий лягавый не найдет? Брось. Если что, я у тебя, блядь, вот этими руками кишки вырву, больницей не отделаешься. Ну?

- А...а... А что будет с Семеном? Он человек что надо. Что же...

- Не ори.

- ...Что же, его загребут, а гебист будет шампанское пить, так, что ли? Не должно такого быть.

- Правды ищешь? Ах ты, тютя. Думаешь справедливость спасти. Да ты оглянись, погляди, что творится, как люди пытаются оставаться людьми и как трудно это. Чистым хочешь быть. А сам за что сидел? Молчи. Ты о себе прежде всего думаешь, хочешь для себя быть красивым. Думаешь, мне легко, думаешь, мне наплевать? А я должен прежде всего о людях, о кусте позаботиться. А ты мне тут убийства разводишь. Гебистик должен вернуться домой, понял, к папе-маме и к начальству, понял? Если этот сучонок ломает себе хребет или еще что, ты будешь передо мной отвечать -

тебя ГБ искать не будет, спишу сам в расход, будто и не было тебя.

- А что будет с Семеном?

- Что будет с Семеном, что будет с Семеном. Загнаторил. Что-нибудь придумаем. Может, устроим ему побег или обработаем его дружка-гебиста. Видно будет.

- Не мог я стерпеть. Встречал, когда сидел, политических. Странные они, непутевые. Но удивительно ведь, правда, когда люди ради идеи, а не денег на нары идут. Говорил с ними. Если честно, не понял, что к чему, но ясно мне стало: власть у нас - говно.

- Открыл Америку. Но я помню нашу встречу в ресторане. Городил огород. Не притащил бы тебя сюда, сидел бы как миленький со своими политическими. Это точно.

- Может. Нельзя правду от себя скрывать.

- Нужно, пока открытая тобою правда - белая ворона.

- Нет, нельзя. Я сразу увидел, что в Семене что-то есть от тех политических, стал присматриваться, следить, по возможности оберегать. После стал следить за Березовым. Есть в нем много говна, нет, хуже - лжи. Да и подумал: неспроста он с Семеном так подружился. Поискал, искал и нашел у Березова пистолет, нож, нащупал у него в подкладке картон, значит - удостоверение. Я так и думал, что его найду, не мог этот гад быть уткой в законе. Мусор, только мусором. Ну, решил я заболеть Березова. Не вышло, три раза ему везло. Семен, он может защищаться только словами своими, больше ему нечем, так я понял. Не отдавай его, мастер, лягавому.

- Постараемся. Но учти, правдивец, мое предупреждение. Я могу тебя понять, спасти смелую овцу от волка - дело хорошее, но ты ошибся, и кончить все стадо, мое стадо, натравить на него всю стаю волков, всю Лубянку не дам. Если сам тебя не прикончу, об этом начальство Березова позаботится. Только за твой гаечный ключ, тягач и овраг тебе могут дать с легкой руки червонец... если повезет. Помни об этом и не повторяй себе, что ты не боишься.

- Я обещаю. Честное слово даю.

- Ты лучше бойся и умней. Топай теперь, дрых-

нуть давно пора. Скоро будет день, будет и пища - и полно говна. Как всегда. Кстати, никому ни слова, даже с собой разговаривай потише. И здесь, в тайге, все за всеми следят, подслушивают, как в коммуналке или любом общежитии. Только тут меньше воняет. Иди.

Кромов прошел в метре от притаившейся Шубиной. Сердце ее рвалось к затаившемуся дыханию, стучалось в виски, не давало сосредоточиться, понять произошедшее; выслушанное только что бесилось в ней без толку, без начала и конца. Но впервые с холодной ясностью распространилась по всему ее существу мысль-ощущение об опасности этой ее авантюры с Нефедовым.

Он чиркнул спичкой, спокойно проматерился и, не обращая внимания на ветки, прошел танком мимо Шубиной. "Это он виноват. Что будет со мной? Они здесь только и думают о химерах, арестах, убийствах. Завтра вот будут охотиться с лицами сумасшедших мясников. Нет, я буду сильной. Я не посиневшая от страха и холода глупая баба, не мешанка, не дрянь. Но чего хочет Василий? Неужели выдать Вропского?"

Огонь наконец издыхал и будто глядел, тихий, как подумалось ей, на будущее похрапывающих неподалеку от него людей. Шубина в него всмотрелась, осторожно приблизила к нему руки. "Скоро замерзнешь и умрешь. Будешь бывший костер под снегом. А пока ты все, все знаешь. Ну и ладно, смотри". Ей стало радостно от чего-то неповторимого в себе, похожего на неизвестную, но долгожданную над собой победу. Шубина почти безошибочно нашла в темени спящего Вропского, без колебаний легла и стала расстегивать его спальный мешок.

- Что? Что такое? А, это вы. Что, захотелось остренького?

- Тише. Ты когда подготовил эту оригинальную фразу? Этим вечером? Подумал, может ведь теперь на меня, приговоренного, полезть эта романтическая дура. Нужно отбрить так, чтоб запомнила. Подумал?

- Не совсем так, но - подумал. А что - ошибся?

- Смотри на меня руками, если хочешь. Хочешь?

Вропский долго возился с ее пуговицами, хотел перестать, но никак не мог себя заставить. Женское тело под руками было податливым, губы Вропского уты-

кались в безвольную шею. "Плевать, плевать", - повторял он про себя. Он был терпеливым с женщинами. Это единственное, что ему по-настоящему удавалось в жизни. "А ведь долго я не был мужчиной. Подарочек напоследок. Ну, чего ты? Забудь себя, хватай, пока хватается. А я уже давно осатанел. Прав Березов: никто никуда не девается. Куда мне деть мысли, куда их отложить, чтоб не мешали хоть сейчас?"

- Подожди... Жалко мне тебя до смерти. Больно мне за тебя. Больно, - Шубина дышала часто. - Подожди... Я не могу.

Она почувствовала: он сдержался, чтобы ее не ударить.

- Не могу. Я должна Василия спасать. Лежи, лежи... я все для тебя сделаю... Я для тебя все, даже стервой стану.

Когда, сдержав крик, Вропский продолжал задыхаться рыбой, Шубина приподнялась. Она была довольна собой, тем, что вела себя как последняя проститутка и испоганила себя. Исчез страх перед людьми, еще только что такой сильный. С нахальной уверенностью откинула она голову, посмотрела, как плюнула, в ночь-тайгу, погладила сильно чуждым ей движением грудь. "Человек, пожертвовавший собой, имеет право на все".

- Спи теперь, спи.

Вропский уже спал, дышал ровно и счастливо. Посапывал, пережив день-жизнь, уйдя от мыслей и слов, продолжая путь в необычное, но без памяти. Шубина пошла по ночи-тайге, грея землю, ощущая яростно свой жар. Нефедов спал под деревом, черным в черноте. Шубина искала его так жадно, что нашла очень быстро, почти так же быстро, как Вропского. Он лежал на спальном мешке, едва прикрывшись тонким одеялом - пальцам это понравилось, как и то, что Нефедов был покрыт слоем ровного тепла. Шубина разорвала его, быстро разбудила тело Василия и освобожденно рассмеялась, когда Нефедов сказал: "Не бойся, глупенькая, не бойся. Иди ко мне". Шубина так неистовствовала, что, насытившись, Нефедов подумал, вновь засыпая, продолжая держать женщину на своей груди, что страх бывает частенько лютее всякой лютости. Подумал спокойно; он давно знал: жадность и страх - лучшие оружия всякого начальника. Утром Шубина сказала:

- Неужели мы со временем все это забудем? Это так несправедливо.

Он ее погладил по волосам, как больную:

- Один мне знакомый поэт, был в Азии шоферюгой, как-то сказал, а я запомнил: "Лучшее время человека - это рождение и агония. Но мы не можем проследить за ними, только подсознание подсказывает, что нет ничего лучше весны и осени".

- О чем ты, ничего не понимаю.

- Чего, чего. Без ума человек бывает иногда умнее, вот чего. Ладно, это я так. А вообще, это ты начала умничать. Значит, выспалась.

- Выспалась.

- Ну и хорошо, забывать будем после. Будить надо людей. Ты, это самое, не бери в голову. Ерунда все это. Ты что, плачешь?

- Нет, я только думаю, что весна была, а осень наступила. Что будет с Вропским?

Утро было совсем без ветра, с морозцем. Хотелось чаю. Запахи все сильнее лезли в ноздри, лениво и упорно. Нефедов заглотал как можно больше воздуха, шумно, как делают нагруженные здоровьем люди, выдохнул, помотал беспечно головой:

- Охотиться будет Вропский.

- А когда на него будут охотиться?

- Оля, перестань. Утро ведь. После поговорим о Семене.

- Как бы не опоздать.

Шубина увидела, как накрылось беспокойством Нефедово лицо, как он опять сильно вдохнул, как пожевал воздух, как выплюнул его. И услышала бормотание: "Блядский Терентьев".

За чаем Гулько и Андамиров вспомнили о случившемся, когда Вропский попросил у Березова прикурить и слишком вежливо поблагодарил. Кромов серо молчал. Но как-то успевший уже опохмелиться Терентьев ничего не забывал. Он громко ухмыльнулся, ткнул пальцем в Березова:

- Ах ты, начальник-погонщик, что ж ты дружка в острожную яму? Нехорошо. Срам. Грешить грехи, но не теряй души. А ты?

Березов ответил ему с ледяной угрозой:

- Знаешь, Лошадь, о себе подумай. Не мешает.

- Что за нелюбье такое, что за сполох, ай-яй-яй. Хорошие советы даешь, ах, какой ты знатный думец.

"Несправедлива все-таки жизнь. Я должен арестовать своего друга; его все любят. Взял бы Терентьева, все были б рады, никто бы не тужил. Никто его не уважает. Страшный он, да и страшилище. Мне бы его на несколько дней. Я его ненавижу".

Березов встретил насмешливый взгляд бурового мастера. "Но больше всех боюсь Нефедова, в этом могу себе признаться, как-то не стыдно. Почему не стыдно? Да, почему?"

Нефедов крикнул:

- Ты, Березов, пойдешь со мной. Научу тебя, лейтенанта, стрелять. Да, если не потеплеет, нужно будет вернуться раньше, чем думали. Оля, ты идешь с нами? Ладно, отдыхай, таежная женщина. Ну, с Богом.

"Кто не испытал вдруг, тайно, как я к Семену, нежности к врагу, понимая его обреченность, свою собственную после победы безопасность, но и глубокое ощущение бесполезности своей победы. Ты победил, ты доволен, но бродит вокруг да около чувство единственной любви к противнику, словно после него, побежденного, не будет у тебя сладкого дыхания, наслаждения от будущего. И нет простой мысли, что забудешь о враге; будет ведь другой, должна повторять истина. Но нет, только этот враг должен быть с тобой, враг, с которым ты хочешь бороться вечно".

Глупо метались в Березове мысли и мечты от Вропского к Шубиной, от Шубиной к буровому мастеру, которому он непременно, любой ценой наставит рога.

А зверье в тот день жадно набрасывалось на свою смерть, тушки складывались в кучу, в крови были руки и лица. Иногда раздавался после выстрела короткий хохот.

- Будя. Будя!

Березов хотел отогнуть мешающие его ружью чужие пальцы, промахнулся; одеревеневшая от нервного пыла рука схватила стволы, обожглась. Нефедов настойчиво отвел ружье Березова к земле:

- Хватит. Четыре часа палим. Звери же - не враги народа. Набили - не унесем.

Г л а в а VI

НА КУСТЕ

Стыла тайга, а вечер все гнал на нее холод. Позванивал тончайше, очищаясь от тепла, воздух. Стволы вокруг словно обретали особую неподвижность. Нефедов и Терентьев в который раз тревожно переглядывались, но их, заметила Шубина, не раздражал как будто гомон у костров. Налакавшись спирта, Андамиров и Гулько долго спорили о футболе, после, натужно поблевав, тихо уснули. Кромов, захмелев, рассказывал Шубиной о непреходящей любви к той единственной женщине, а Шубина прислушивалась к разговаривающим в сторонке Березову и Вропскому.

- Не все у нас считают вас безумцами. Хотя, согласись, броситься вот так, без оружия, без когтей, на век-волкодав, тут... всякое можно подумать. Но я согласен с тобой - ты был в безвыходном положении.

Вропский медленно покачал головой:

- Я этого не говорил. У меня был выбор. И я следовал велению совести. И я не нападаю на тебя и твое государство. Я просто хочу, чтобы люди знали свои права свободных граждан и пользовались ими. Неужели это так опасно для вас? Нет, конечно, я не так опасен, как тебе кажется. Ты просто орудие ненужного страха. Давай лучше еще выпьем.

- Давай, а то мы слишком трезвые для такой беседы. Ты, Сема, думаешь, я тебя не понимаю, а это не так. Ты - хороший человек. Хороший. И утопист.

- Нет...

- Утопист! Странно, мы вот сидим с тобой, друг к другу вражды не испытываем, хотя я из-за тебя смертный грех на душу взял, своей рукой... Ладно, давай о другом.

- Нет другого. Хочешь о футболе, мать твою?

Они оба рассмеялись. Для Шубиной их слившийся смех прозвучал противоестественно. "Когда добро и зло обнимаются, быть беде и добру смерть". Так ей говорил дед. "Господи, я вот хороню уже Семена". Кромов ей все повторял, что никогда не женится. Она покивала и про себя помолилась за Семена и Василия: "Спаси их, Господи, спаси".

- Утописты! Все? Наговорились?! Теперь дрыхнуть! Завтра реальность самая что ни на есть вам морды почистит.

Отбой! При свете костра все увидели в приподнявшемся Нефедове грубую, неприятную силу, даже Кромов. И все подчинились. Шубина легла рядом с Нефедовым.

- Оленька, давай завтра поговорим о Семене и утопистах. Спи, спи. Вон, Лошадь давно храпит.

- Подъем! Подъем!

В красноту потухающих костров падали снежинки. Они кружились все сильнее под низким небом. Буровой мастер пинал ногами тела, орал Терентьеву:

- Я тебя, блядь, приблю! Накаркал-таки. Почему раньше не разбудил? Уже утро. Буря, пурга где?

- Часах в трех, не больше, начальник. Торопиться надо. Бери бабу и семени.

Нефедов взревел:

- Ты что... все вместе пойдем! Я за людей отвечаю! Жди.

Лошадиное лицо Терентьева горело:

- Лишние вещи, лишних людей - за борт. Иначе пропадем. Я тебя, начальник, предупреждал. Я за погань жизни лишаться не собираюсь.

Большие редкие его зубы заблестели, глаза кипели неистовством, голос стал тише:

- Начальник, я один уйду...

Неприятная волна пробежала по телу Нефедова, миг жутковатости застрял в горле. Терентьева он знал давно, знал его способность быть спокойно-жестоким как будто без особых причин. В драке Лошадь любил добивать уже как будто добитого, долги вырывал с мясом. Но был в Терентьеве и размах - отдать вдруг все до копейки. И верность в нем жила. А тут Нефедов

увидел в Терентьеве откровенную ненависть ко всему, к миру, частью которого он, Нефедов, был, и твердо-злое стремление выжить любой ценой. Он подумал, видя растерянно оглядывающихся со сна остальных людей и Ольгу, глупо ловившую ртом снежинки: "Лошадь не выпустил бы этого лейтенанта живым из рук". Нужно было что-то делать, что-то решать: без Терентьева он мог сбиться с дороги, а главное - нельзя было дать Лошади право дойти одному до вездехода. Буровой мастер надел маску зубоскального холодного неистовства и тут же забыл, что это маска. Он схватил ружье, щелкнул стволами, направил их на Терентьева:

- Ты будешь ждать. Ты пойдешь вперед. Шаг вправо, шаг влево - пристрелю без предупреждения.

- Что? Что случилось?

- В чем дело?

- Вы что это, зачем?

- Ребята, нельзя же так, помиритесь.

- Бурмастер, что он тебе сделал? - спросил последним Кромов.

Нефедов и Терентьев повернули одновременно головы, посмотрели на людей, топтавшихся вокруг белевших костров. Терентьев кивнул криво погрустневшей головой погрустневшему лицу Нефедова:

- Вон, начальник, погляди, как раскудахтались.

- Вижу. Кром, не своди с Лошади глаз. Потом, потом все поясню. Захочет смыться - врежь ему из двух. Тише. Тихо! Зима пришла. Пурга начинается. Вон, небо говорит. У нас мало времени. Надо успеть добраться до вездехода, пока все не замело, и добраться затем до Куста. Иначе застрянем здесь на всю зиму. По тундре нам пешком до Куста не дойти - заплутаемся и замерзнем. Лошадь меня предупреждал, он почуял, мне тоже было беспокоино, но я ему не поверил. Моя вина. Вот он и хочет по справедливости один уйти. Этого нельзя допустить. Так что собирайтесь в темпе, берите только самое необходимое - и в путь. Шаг должен быть скорым. Через усталость и боль. Иначе - смерть. Я не дам всем погибнуть ради одного. Вопросов нет.

- Есть. А если Ольга отстанет, что будешь делать, буровой мастер, а?

- Ты, лейтенант, благодари гебистского бога,

что жив. Вопросов нет. Если кто увидит: Терентьев смывается - стрелять без предупреждения. Опережает слишком, уходит вбок - попытка к бегству. Если непонятно, лейтенант объяснит. Все. Оленька, пойдешь со мной рядышком.

Березов продавил себе губу до крови; словив насмешливый взгляд Терентьева и злобный - Кромова, решил, что его шансы вылезти живым из этой истории не перестают истощаться. Он сказал Вропскому, спокойно собирающему рюкзак:

- Прямо шагренева кожа. Может, тебе еще повезет. Парки как будто твою нить гладят, мою рвут. Что скажешь?

- Что пойду с тобой. Жизнь прожить - не поле перейти. Мог ли я думать, что захочется защищать приехавшего арестовать меня чиновника? Я не мазохист, знаю. Пошли, все готовы. Анда, чего ты?

Андамиров смотрел со слезами на гору дичи:

- Жалко, добра сколько пропадает. Столько жратвы первоклассной пропадает.

Гулько ткнул его в спину:

- Жратвы! Тут на полторы тыщи, не меньше. Мы же деньги бросаем, дура. Но, ты слышал, а как не дойдем? Деньги, они живому нужны.

Андамиров согласился. И шепнул другу:

- Это лягавый на нас невезуху навел. Я чую, у него глаз дурной.

А Березов тронулся в путь надутый: его оскорбил вроповский "чиновник". И он знал, Вропский произнес это слово именно с этой целью: оскорбить, унижить его.

Снег падал гуще и быстрее, облеплял деревья, людей, копился. Время ушло в надвигающуюся бурю. Никто не считал шаги, не смотрел на часы, не вертел в себе надежду. Пот обильно стекал по спинам; дыхание, все белевшее, набирало хриплость. Каждый, кроме Нефедова, старался видеть идущего впереди Терентьева, и знание, что в его беззащитную спину можно вогнать жакан, доставляло удовольствие, тушило усталость. Шубина чувствовала резкий стыд: "Прости, Господи. Я ведь только добра хочу, и ведь я жить хочу. Это ведь он, Лошадь, пургу вызвал. Он нехороший че-

ловец. И предатель. Я здесь, чтобы спасти душу Василия, убийством запятнанную из-за меня. Господи, я скоро упаду. И мороз с каждым часом все сильнее. А он тут рядом, Василий мой, с палаткой этой громадной на плечах, идет, будто гуляет. Он все выдержит. Он меня спасет. И Семена спасет. Всех... А если Лошадь и Василий не найдут вездехода? А если у Васи сил не хватит? А если... Господи, не такая я плохая".

Она вцепилась в рукав нефедовской телогрейки:

- Вася, брось палатку. Уж очень она тяжелая. Ведь далеко еще идти, устанешь слишком.

Нефедов повернул к ней на ходу лицо, на котором нежность отогнала сосредоточенность:

- Не бойся за меня, Оленька. Все в порядке. Я тебя, если нужно, на палатку положу. А добро жаль бросать. Как-никак дефицит. Да и до опушки не так далеко. А ты как, выдержишь? Останавливаться нам нельзя.

- А может, этой пурги нет; может быть, она до нас не дойдет; может быть, мы зря послушались твоего Терентьева?

- Нет, не зря. В этих краях ошибка - это часто смерть. Забудь о юге. Ночь на месяцы приходит. Буря, метель, пурга, если хочешь, может длиться месяц; мороз может прыгнуть до сорока-пятидесяти; мы можем в молоке сбиться с дороги; мы можем вездехода не найти. И нам нужно еще добраться до вышки. А Терентьев свое дело знает. В нем много зверя, он чует получше нас с тобой... Не говори больше, выносливость и так уходит из тела.

- Хорошо. Только сволочь он, твой Терентьев.

- Нет. Он просто жить хочет и знает, ему-то никто и никогда не придет на помощь. Такой он, его люди не любят. Теперь - все. Ни звука.

Березов отчаянно боролся с болью в ногах и груди. "Они только все рады будут, если я упаду". Снега насыпало уже много, стало труднее выбрасывать ногу для шага. "Вропский первым должен обрадоваться, если я упаду, но он, я знаю, единственный мне поспешит на помощь. Юродивый он. Все они, такие как он, юродивые. Правильно их дядя Виталий презирает, называет психопатами... Что он делает? Он стихи бормочет. Голову отдаю, поэзией увлекся. Семен, Семен, враг ты,

а чудесный человек. Что я один, без тебя, тут бы делал? Нет, я положительно начинаю сходить с ума. У меня и глаза начинают болеть, рябит, белое бьет. А вот Лошади похуже, чем мне: небось ожидает выстрела в спину, небось лопатки шевелятся. Врезать бы ему. Он, он хотел меня тогда убить. Он скоро и сам свалится. Страх дает крылья, а после наливает их свинцом, это известно".

Вропский споткнулся, и Березов поспешил ему на помощь.

- Что, Семен? Обопрись.

- Спасибо большое. То ли корень, то ли камень, под снегом уже не видно. И дыхания осталось маловато. А ты как?

- Трудно. Чего скрывать. Пойдем. Надо их догнать. Скажи, ты какие стихи бормотал?

- Мандельштама. Он мой любимый. Ну, и Пастернак. Черт, снег все время в рот лезет. Ветер, по-моему, все время усиливается. Лошадь прав: это пурга. Может, мы с тобой, лейтенант, в этой тайге и останемся.

Березов постарался, и ему удалось покорить дрожь в голосе:

- Лейтенант, чиновник. Обидеть все хочешь. А мы ведь с тобой друзья. Ты, кажется, усмехнулся. Или это мне со снегу показалось. Вот, посмотри: Андамиров и Гулько цепочку замыкают. Идут, как роботы. Роботы и есть. А остальные? Даже Оля. Она, поверь, ближе к ним, чем к нам. Я лейтенант и чиновник, но я не робот, и ты это знаешь. О чем это я? Голова того, кружится. Да, да, вспомнил, скажу. Доскажу. Мы с тобой любим красоту, прости за выпренность, а они даже не знают, что это такое. Мы здесь можем рассчитывать только друг на друга.

Вропский рассмеялся неуверенно. Сил в нем было еще много, но ему хотелось лечь тут на снег и спрятаться от настоящего и будущего. Он верил и продолжал верить: ничего ценнее достоинства у человека нет и не будет. "Без достоинства нет свободы, - повторял он часто себе и всем, кто хотел его слушать. - Без свободы нет достояния, - добавлял он. - Значит, без достоинства нет достатка," - заканчивал он. Его слушали, кивали даже, но неизбежно все кончалось нас-

мешками над ним, в любом случае - поражением, словно люди взвешивали его душу, как товар, брали, а затем на что-то обменивали. "А эти? Они все рвутся из тайги без оглядки, как раньше рвались за заводские ворота. Заговори он о солидарности - растоптали бы. А Березов - гебист, а Володя - рядом, помог, хотя и не нужна была помощь. Да, в чем-то он прав, наверное".

Сколько бы он, Вропский, ни любил кого бы то ни было, все кончалось фарсом. Мать-бухгалтер кричала, театрально-торжественно выгоняя его из квартиры, что неблагодарную змею родила: "Советская власть тебе все дала, а ты ее хаешь; я тебе все дала, а ты меня позоришь, память отца поганишь". Женщины, говорящие ему самое нежное, всегда находили быстро предлог, чтобы навсегда уйти от него, бедного, странного, опасного. Они видели: нельзя с ним жизнь прожить, хоть и непьющий, недрачливый, хоть и вежливый. "Ты прости, но не ко двору я тебе". Кто это сказал? Лица память так и не дала, но тот взгляд, здорового на умирающего, вернулся к Вропскому на этой снежной тропе в целости. А Катерина? А Юшка? Никого он так не любил, как наследство старшины. Когда он уходил, чтобы уехать на север, Юшка проводила его материнским пренебрежительным взглядом. Вропский прохрипел:

- Юшка, Юшка.

- Кто это?

- Моя дочь. Ты, Володя, уже пошатываешься. Ничего, немного осталось. Давай, поэзия поможет.

- Думаешь, вылезем?

- Почему бы и нет? Видишь, догоняем. Только прости уж меня великодушно, роботы не они, а ты и твои коллеги. Не огорчайся, чиновник - всегда робот... пока не возмутится.

Они уже шли в колючем белом тумане, но отметили по поредевшим темным пятнам стволов: опушка недалеко. Вропский ошутил в себе огонек холодной ярости. Можно жить без настоящего и будущего... пока они не придут. Ничего не потеряно. Он богаче их всех. Разве он не жил по велению совести, разве не защищал достоинство, свое и людей, пусть от него отказывающихся. "Рано сдаваться. Лагерь - не поражение, тюрьма - не унижение". Он хлопнул вздрогнувшего от удара Березова по плечу:

- Еще не вечер, еще не вечер.

Березов упал на колени:

- Все. Нет сил. Иди, я тебе не выстрелю в спину.

- Ты уверен?

Голос Вропского был веселым. Березов помедлил с ответом и, хотя был уверен, сказал:

- Нет, не уверен.

Вропский сказал еще веселее:

- Ах ты, сука гебистская. А я ведь тоже могу тебя пристрелить. А ну вставай, пока в морду не насыал. Мы их потеряем. Нассу, ей-Богу, нассу.

Березов быстро встал, они нагнали остальных и вместе вышли к вездеходу. Впереди шел буровой мастер, неся на плечах свою женщину. Он расхохотался:

- Оленька, смотри, в следующий раз выберу палатку.

Рядом стоял Терентьев, крикнувший:

- На этот раз выбрались. Рисковый ты, мастер, рисковый. Послушай.

В тайге раздался словно вой-хрип гигантского зверя, зверя до небес. Земля не дрожала, но все на мгновение постаралось вдавиться в нее ногами.

- Буреломы начали иметься. Еще срока чуть, часок - и весь сказ.

Андамиров, весь в мыле, с трудом дышавший, смотрел на бурового мастера с откровенным восхищением. Бурмастер стоял, будто не было для него многочасового броска, будто не нес сначала мертвый груз палатки, а после, более часа, живой вес человека. Он показывал весело миру свои ровные желтые зубы. Этот мощно-спокойный человек никогда еще не вызывал в Андамирове такого сильного чувства, похожего на преклонение. Он подошел к бурмастеру, коснулся осторожно пальцами его руки:

- Чего Лошадь так говорит? Брешет он, правда? Он вообще брешет.

Нефедов посмотрел на Терентьева, тот подмигнул: видишь, всегда так, всегда мне не верят.

- Правду Лошадь сказал. Если бурелом бы нас и не поддел, все равно он мог изменить лес, и мы, даже Терентьев, могли бы обратной дороги не найти. Ну, отдышались дети? А спирт у кого остался? То-то. Пом-

ните мастера. Дело мастера боится.

Две бутылки в руках Нефедова вызвали восторг. Кромов бросился к ним, но от толчка упал:

- Цыц, неразумные. Думать, думать надо. Вам жарко после беготни. А в вездеходе что вам будет минут уже через двадцать? Хо-лодно! Спирта должно хватить до Куста. Всем поровну.

Терентьев, хихикнув, вытащил из-за пазухи бутылку:

- Олухи царя небесного. Даже плюнуть расхотелось.

Кромов, перекрикивая, как и все, пургу, сказал "сука" и в нервном желании доказать себе, что он жив, в стремлении наказать кого-нибудь за испытанный страх накинулся на Терентьева и вновь упал от толчка руки бурового мастера.

- Цыц. Перекурили, теперь будя. За рычаги сядет Терентьев. В кабину к нему влезут Оля и Гулько: он самый тощий из нас всех, выпьет, уснет - и поминай как звали. Остальные - в кузов.

Все обернулись к орущей и хрипящей тайге. Мысли о смерти остались в ней, заманчивым приключением казалась уже охота. Начинаясь за редкими сгорбленными деревьями тундра словно шаталась в снежном круговороте. Она вызвала суету только после первого глотка спирта, когда девяностошестиградусная влага вызвала истому в холодеющих телах, а капли белым легким ожогом на губах - привычные жесты бытия: вытереть рот, запихнуть в него пищу. В кузов вездехода залетали часто снежинки. Березов спросил:

- Мастер, ты уверен, что Терентьев найдет дорогу в этой каше?

- Что, лейтенант, испугался? Найдет, найдет. Общее направление он знает, ориентиры ему известны, и их при таком ветре не занесет. До Куста доберемся. А ты, Семен, чего приуныл, молчишь?

- Тело болит.

- Ишь ты. Как думаешь, так и говоришь. У всех тело болит, только никто не признается. А ты - прямичком. Вот Кром тоже таким бывает. Учу его, учу, а, Кром? Слышишь меня?

Кромов крикнул:

- Орешь так, что в Политбюро услышат. Расселись

мы тут как сволочи. А я говорю: гебиста этого выкинуть надо, пусть пешком до Куста добирается. Слышишь, лягавый, что говорю?

- Слышу. Опять ты за свое. Пойми ты, не я Володю гублю, он сам себя губит. Спроси у него, нужно ли меня убивать. И у мастера спроси.

Нефедов был доволен. Гебист испугался, и начался горячий разговор; даже немного драки бы не помешало: в драке всегда тепло. Он рассмеялся так же весело, как раньше:

- Не отвечу. Сами разбирайтесь, а я пока всем налью по маленькой. Идет?

Вспыхнувший в Березове страх сразу исчез. Он понял еще там, в тайге, что буровой мастер не даст его убить. Почему - он не знал. Мастер мог не опасаться расследования: все хором и упорно будут гнуть свое - заблудился в метели, ушел, дурень, в пургу, сгинул в бури снежной. Искали, искали... Нет, бояться нужно не расправы коллективной, а удара ножом, внезапного выстрела. "Надо им чем-то врезать, чтоб хари у них скрючились и не выпрямились. Чем бы... поэзией. Я им врежу поэзией". А то в Управлении отцу только и скажут: чего, мол, твой дурень молодой на охоту поперся.

- Ты думаешь, Кромов, что раз я ГБ, значит - автоматически гад. Вропский знает, что это не так, а ведь, казалось бы... Ух и крепкий он, за горло хватает... Думаешь, я волю не люблю, свободу не уважаю. Ошибаешься. А что мне было делать, если вся моя семья, весь мой род в органах работает испокон веку? Я уже об этом говорил Вропскому. Только говорил ли ему, что и я немало правды распространил по Москве? Вот, дядя в Париже был, книги оттуда привез. Среди них сборник стихов Георгия Иванова.

Нефедов с интересом промычал:

- Что за фамилия такая? Иванов есть Иванов, а тут Иванов.

Березов развеселился:

- Так дворяне выдумали, чтобы отличаться от простолюдинов. Но поэт какой! Из лучших, самой высокой марки. Вот я вам одно прочту, слушайте внимательно, оно к месту и ко времени:

Россия счастье. Россия свет.
А, может быть, России вовсе нет.

И над Невой закат не догорал,
И Пушкин на снегу не умирал,

И нет ни Петербурга, ни Кремля -
Одни снега, снега, поля, поля...

Снега, снега, снега... А ночь долга
И не растают никогда снега.

Снега, снега, снега... А ночь темна
И никогда не кончится она.

Россия тишина. Россия прах.
А, может быть, Россия - только страх.

Веревка, пуля, ледяная тьма
И музыка, сводящая с ума.

Веревка, пуля, каторжный рассвет
Над тем, чему названья в мире нет.

Березов читал серьезный, суровый и видел свое спасение. Опустились головы. Шум пурги и шум мотора как будто ушли из мира. Андамиров протянул руку, стал нежно-медленно ловить снежинки. Березов стал ждать спокойного голоса Вропского. Дождался:

- Замечательный поэт. Не слышал о нем. Да, умную красоту все любят, пусть она грустная, пусть томительная, пусть ложная.

"Хорошо, что он не договорил. Хорошо. Они ничего не поняли. И не любят они красоты, ни умной, ни глупой; они подчиняются определенной мелодии стиха. Вропский это знает, только не хочет себе в этом признаться. Поэзией их можно только обманывать, как я это сделал. Музыка в словах, в буквах их поражает, сшибает с ног. Они ничего не знают, ничего не понимают, но Иванов и я дали им иллюзию, что они поняли. Теперь из этой сволочи можно веревки вить... Эх, Вропский, Семен, Семен. А ведь ничего тебе не стоило меня прикончить. Правильно говорят: дурака и в церкви бьют".

Березов продолжил торжественно-жестко читать стихи, нагнетая в людях печаль, не веря уже своим ловким мыслям, подчиняясь безысходности в строфах. Он спасся, все спаслись, потому спирт и грусть вызывали щемящие слезы.

Хорошо, что нет Царя.
Хорошо, что нет России.
Хорошо, что Бога нет.

Только желтая заря,
Только звезды ледяные,
Только миллионы лет.

Хорошо - что никого,
Хорошо - что ничего,
Так черно и так мертво,

Что мертвее быть не может
И чернее не бывать,
Что никто нам не поможет
И не надо помогать.

Нефедов, как и все, поддавался чародейству. Он-то знал: Лошадь может заблудиться, в таком снегу гусеницу сломать - плевое дело, мало ли бывает в жизни внезапных причин для смерти. Но, слушая, не мог не пожалеть поэта, хлебнув спирта, не почувствовать в себе прилива уверенности: все есть в России, и я есть и всегда буду. Временами он тряс слабо головой, отгоняя поэзию: "Эти стихи должен был читать Вропский. Не на местах все стоит - в метельной тундре на этом краю света гебист читает нам такого поэта. Чего он хочет, этот хитрец, ума не приложу". Магия вновь овладевала им, и он вновь начинал слышать в стынувшей своей крови черствую музыку о том, что недостаточно на земле нежности и надежды, что он счастливей, пусть холодно и скоро кончится спирт, и всегда будет счастливей этого человека, написавшего эти стихи, этого поэта, честного, талантливого, но ошибающегося. Музыка была сама по себе бездушной, она только информировала толчками крови-жизни. Нефедов глубоко-глубоко вдохнул ледяной воздух: к нему пришла уве-

ренность - он может быть сильнее любой тоски.

Утомившись, Березов решил рискнуть, убедиться, что он спасен.

- Можно мне глоток вне очереди? В горле пересохло.

Ему дали, не раздумывая; вернее, дали за Иванова. "И на том спасибо. Защищай меня, Иванов. Знал бы ты..."

- А где, скажи, он шас, который, это, стихи написал?

- Он, Анда, давно умер. Во Франции. Он был эмигрантом, ярим противником советской власти, беляком он был, чтоб тебе было понятно.

- Ишь ты. А почему он все время говорит, что России нет?

- Потому, Анда, он так говорит, что под Россией он подразумевает Российскую империю, а ныне у нас ее нет, а есть Советский Союз.

- Понятно. А почему хочется ему верить, хотя он был беляком?

- Потому, Анда, что он - замечательный поэт.

- Понятно.

Вропский кашлянул. Кромов, как бы очнувшись, спросил:

- Ты, Сема, хочешь что-нибудь сказать? Давай, говори.

- Скажу, конечно. Нет, Анда, не подразумевал Иванов Российскую империю, он просто говорит и утверждает, что коммунисты, или, если хочешь, большевики, губят Россию и русский народ.

У Андамирова глаза полезли на лоб; он, выдыхая спиртной дух, закашлялся, откашлявшись, расхохотался для всех неожиданно:

- Ах вот, оказывается... какая. Так это ж всем известно. Открыл Америку!

Все заразительно расхохотались до икоты и слез, до резей в желудке. Березов тоже; всхлипывая, кусая рукавицы, он непонятно для чего повторял: "Нам всем каюк, ну, нам всем каюк".

Вездеход дернуло, он резко остановился, мотор заглох. В замерший хохот врезалась со всей силой пурга. Из кабины в кузов просунулась голова Терентьева:

- Эй, человеки, кто тут успешный? Точно лейтенант, кто ишо. Не Анда же, у него кишка тонка для удачи. А начальник, он сам ее берет, когда потребуется. Да, есть спирт у кого? Мой весь вышел.

Буровой мастер, побагровев, заорал:

- Ты что, падло, для этого остановился? Ты что, сука, на меня страх нагнал! Я уж подумал... Ты что, блядь, да я тебя...

Терентьев посмотрел на белые лица, отчетливо выделяющиеся на фоне покрывающего кузов брезента, увидел на них растерянность и страх, рожденные гневным испугом бурового мастера, паническими нотками в его голосе.

- Что, страстью захворали? Ты, мастер, не сердчай. Вот уж потрунить невозможно. Супружница твоя и глаза не продрала. А того я остановился, что Куст наш мелькнул. Если, думаю, это видение адово, так мы все пропали. Ан нет, выщечка торчит... Куда вы, заячьи души, а спирт мой? Не хватай меня, мастер. Не души, душу не порви. Чего ты?

Нефедов отпустил куцый воротник телогрейки Лошади. Он клял себя за прорвавшуюся наружу слабость свою. Это так редко происходило. Он настолько хорошо научился скрывать резкие чувства, что без приказа мысли захлопывался в нем защитный клапан. Но слишком, вероятно, мощным было напряжение последних дней. Давила ответственность за всех и за все. Кромов, лейтенант, Вропский, Ольга... А Лошадь вдобавок врасплох застал. Он давно замечал: Терентьев тихой сапой, будто ненароком, старается подорвать его авторитет. "Сидит в нем бес. Ну, слава Богу, и на этот раз пронесло".

- Я тебе душу-таки порву, разорву как цуцыка. Чего панику устраиваешь? Ладно. Молодец. Довел до порта. Тебя, проклятое семя, надо бить и любить одновременно, знаешь ты это? Ладно, теперь надо гнать людей обратно - и ходу, до Куста сопля осталась, раз вышку смог увидеть.

Нефедов степенно и ловко спрыгнул с вездехода. Пурга только набирала силу, подвывала, прежде чем завывать-закрутить на полную силу. Вышка мелькала между порывами снега. На нее все смотрели прикованно, полоткрыв рот, как новички на северное сияние.

· Вася, приехали, правда?

Сонная Шубина благодарно обняла Нефедова, преданно посмотрела снизу вверх на его начинавшую завиваться бороду.

- Проснулась. Холодно тебе? Ничего, вон оно тепло, рукой подать. Вот он Куст. Эй! Вы все! По машинам! Давай, давай, время не ждет! Оль, выпей еще глоток спирта.

- Нет, в кабине тепло, дай лучше Семену, ему нужнее.

- Нет, передай бутылку Лошади, он заслужил; ты не понимаешь, но он нам всем жизнь спас. Семен! Вропский! Чего стал?

- Свободой люблюсь. Может, в последний раз.

- Ладно, ладно. Разберемся... Ты что о коммунистах говорил? А я, между прочим, член партии. Что, плохо меня слышишь? Еще не так завоюет. Она месяц может дуть.

Подойдя в упор, Нефедов увидел в глазах Вропского грусть смелого человека. И ощутил сильное раздражение:

- Драться надо за жизнь, а ты себе петлю на шею вешаешь. Сгниешь, кто о тебе вспомнит? Садись, сопляк, тоже мне герой нашелся. Дурень ты! И за что таких бабы любят? Ну, бабы, они бабы и есть, вон моя по тебе слезы льет. Садись давай... Оля, а ты чего вернулась? Мне что, за каждым бегать? Идем, идем.

- Я с тобой хочу. Поцеловать тебя хочу здесь, в метели. И губы у тебя большие, и борода мягкой становится, и рыжей. Хороший ты. Только надо, чтобы Бог тебя любил. Я уж позабочусь... Давай постоим тут полминуты, после же люди будут кругом на твоей вышке... почему ты ее Кустом называешь?

Слова Шубиной грели мастера; от теплоты слабела душа; мечта о необыкновенной любви мгновенно заработала, показалась - вот она, нежность, Оленька, бессмертие.

- В общем-то, Куст - это несколько расположенных неподалеку друг от друга скважин; Куст - это также вахтенный поселок, где живут без семей работаги. Ну и мы свою вышку тоже Кустом величаем, так она многочисленней кажется, а мы - поважнее. Иди ко мне, замерзнешь, дурешенька.

Буровая встретила вездеход воплями радости; на встречу из дома-избы высыпал народ, человек не менее двадцати, многие с бутылками в руках.

- Вернулись! Живы!

- Давайте, охотники, зиму встречать!

- А мы уже думали: хана им! Не выберутся! Ур-ра-а!

Впереди бежала, словно катилась, маленькая, круглая, неправдоподобно толстая женщина. Нефедов с досадой воскликнул:

- Чургучева! Тебя только, бляди, здесь не хватало. Ну, не обнимай, да не лезь ты со своим шампанским. Не хватай, веселая, где не положено. Постыдись.

В доме-избе было жарко натоплено. Прибывшие облепили русскую печь. Двухъярусные койки были не убраны, в большой комнате воняло блевотиной и самогоном. Нефедов поймал за шиворот пробегающего мимо паренька:

- Слушай, лаборант, чтоб здесь к утру сверкало. Лично мне ответишь. Все слушайте. Сегодня еще пить и гулять; считайте, я еще не прибыл, а к завтраму - чтоб был порядок. Бить буду не по морде, по карману и без пошады. Налейте кто-нибудь... Как дети, всегда как дети. Ладно, я пошел к себе. Эй, балалайки бесструнные, кому говорю: увидите парторга - пусть ко мне топает. Пошли, Оленька, пусть они здесь сказки о своих похождениях рассказывают.

К Шубиной бросилась замеченная ею у вездехода толстая женщина:

- Подождите. Давайте знакомиться. Меня зовут Света Чургучева. Вот, давайте выпьем шампанского; как говорят, за знакомство. Кто вы - знаю, с кем вы - тоже знаю. У вас на лице горе написано и то, что вы себя сильно любите. Я, знаете, по лицам читаю, по руке гадаю. Я вам погадаю, время есть. Приехала на день-два, да вот пурга, теперь быстро не выбраться. Увольнять опять будут, а после снова на работу принимать. Здесь учителя не задерживаются, бегут обратно в город, к цивилизации. Меня туда не тянет, хоть я из Питера, и насиловать меня не надо, сама кому угодно дам. Я вас шокирую?

- Нет, Света, не шокируете вы меня. Свобода

стать шлюхой прекрасна. Я вам не завидую, но не без иронии восхищаюсь. В этих местах шлюха полезнее честной женщины, это очевидно. Но мы, если позволите, об этом после поговорим, мне нужно отдохнуть.

Чургучева повертела толстой черной юбкой, черноволосой маленькой головой и рассмеялась визгливо вслед Шубиной:

- Софистикой занимается. Интересно. Отдыхайте, отдыхайте, но я вам все равно погадаю, посмотрим, что от вас останется.

Захлопывая за собой дверь, Шубина увидела стоящую позади всех повариху, моложавую, мало чем отличавшуюся от мужчин. Она спокойно улыбалась жестким ртом и телячьими глазами. Шубиной стало ясно: повариха чувствовала себя на вышке полной хозяйкой, без лишних слов, жестов, без лишней суровости или любовной щедрости.

Пурга уже свирепствовала вовсю; от ее быстрых ударов Шубина, сделав несколько шагов, упала, покатилась, застыла. Ее пронизала, как огромной сосулькой, тоскливая мысль-чувство: "Что я, безумная, здесь делаю? Все - чужое, грубое, блевотинное, да, блевотинное... Хочу к бабушке". Руки ровным механическим движением подняли и поставили ее на ноги:

- Пора канаты протянуть, а так дня через два людей недосчитаюсь. Это, Оленька, Белая Нежность, так ее, метель-пургу, местные жители в старину называли. Пурга осталась, жители все померли, не от пурги, от водки. Все равно смерть повсюду: что так, что этак.

Нефедов, крепко облапив по-медвежьи Шубину, глубоко задышал, втягивал и выдыхал воздух с большой силой, будто хотел, пусть на несколько мгновений, всего себя отдать дыханию. Шубина попыталась, но так и не смогла его пожалеть, вновь и вновь спасти его своей верой. Уж очень Нефедов показался ей большим, каменным.

В вагончике мастера было убрано, письменный стол выделялся добротностью, в спальне были повсюду свежие следы работы женских рук. Мастер взгляделся в висевший над столом геолого-технический наряд и нормативную карту.

- Что это?

- Тут расписан порядок прохождения скважины. Мы к газоносному пласту подошли вплотную. О нем Лошадь тоже каркал... Тебе надо будет другую одежду здесь носить. Я тебе полушубок дам, поверх него - плащ, вместо сапожек - валенки моего размера, чтобы носки из собачины влезли. Чего кривишься?

- Да я стану средним родом с такой одеждой и обувью, как ваша повариха. Вот-вот, средний род, на женщину непохожа...

- Лучше быть на время на женщину непохожей, но ею остаться. Тебя морозным ветром пробьет, без... Слушайся, товарищ врач, когда тебе приказывает начальство. Пойди отдохни, поспи.

В вагончик вошел, неся на себе бурю - шквал ворвался и тут же погиб, отрезанный дверью, - пожилой человек:

- Извини, Василь Алексеич, наследил. Где веникто? Только вот узнал, что вы вернулись. Плохи дела.

- Садись, парторг, садись, бригадир. Скажи, как царствовал тут без меня? Когда солярку подвезли? Не пожадничали в управлении? А то, видишь сам, зима неожиданно-негаданно пожаловала.

Под взглядом мастера старик постарел еще больше, на его большеносом лице выступил страх и застыл по обеим сторонам рта и в глазах:

- Не подвезли ее. Я просил, требовал, даже угрожал... Из дворца обещали, после снова обещали, а еще после изматерили. Думали небось во дворце: время есть, торопиться некуда, зима только через месяц должна была притопать, и я так думал. Что теперь делать? Пласт здесь, я его чую, мы не через неделю, мы завтра можем до него добраться. А тут еще рубона осталось на вышке с гулькин нос, курево кончается. Это еще не все. Чургучева не только жопу свою привезла - несколько ящичков водки притащила на продажу: как только завьюжило, как только горизонты исчезли с глаз человеческих, так люди пить начали больше обыкновенного. Им кажется, будто оказались мы в тесной снежной избе, а остального мира нет. Это еще не все. Уже начали говорить о Березове и Вропском. Что, правда, Березов - гебист? А Вропский такое уже стал говорить, что мало ему пули, сукиному сыну. А Березов, гебист, значит, молчит, будто воды в рот наб-

рал. Надо что-то делать. Вызови, мастер, органы, это я как друг и парторг советую, пусть они его заберут, и чем быстрее, тем лучше. Ты хоть понимаешь, что происходит? Чего молчишь? Плохи ведь дела, плохи.

Нефедов ощутил в желудке болезненную пустоту. Все оказалось хуже, чем можно было предположить. "Пришла беда - открывай ворота. Правильно народ говорит. Говорит правильно, а делает все наоборот. Нет мудрости на земле, есть только накопленные слова".

Нефедов заглянул в спальню, прислушался ко сну Шубиной, к безмятежности. "Что Ольга верующая - знать не должны. Не Бог знает что, но лучше не надо". Подошел к радию, стал вызывать базу. Но динамик радиации молчал. Мастер начал орать, что ему дозарезу нужно дизельное топливо, что ЧП на носу, что отвечать будет не он, а база, управление.

Парторг, слушая, кивал печально:

- Правильно. То, что нам не могут ответить, не доказательство, что нас не слышат. У меня старуха такая, молчит, но все сделает. Через пургу сигналы не проходят...

Он вдруг к чему-то прислушался, будто мог что-то услышать, кроме взбесившегося снега, побледнел, бросился из вагончика. Когда вернулся, спокойный страх в глазах уступил место панике. Нефедов ткнул рукой в радию:

- Так и не ответили. Вот что, прекрати бурение. Перейдем на холостой, а там видно будет. Ты где был?

Старик, по его лицу как слезы тек умирающий снег, поднял неожиданно весело высоко голову и сказал с удалцей в голосе:

- Поздно. Хана нам. Будет, сабантуй. Я двадцать лет в этом говне живу, без него уже не могу. Почему выбежал? Мне как по печени кто ударил. Я наше хозяйство пузом чую. Все. Вышли на пласт. Теперь, если...

Кулак Нефедова ударил в утепленную стенку вагончика с яростью.

- Никаких "если"! Тем более переходи на холостой. Будь что будет... хотя свинья всегда съест. Надо выждать и держать людей в руках. А насчет органов, мы и так в говне по самые уши. Один гебист у нас есть, хватит по горло. И так ЧП нажили. Ты что

же, парторг, хочешь еще и политического, сам же первый попадешь под каток... Нет, пусть в случае чего гебист расхлебывает, а наше дело - сторона. Понял?

Парторг-бригадир с откровенной похвалой посмотрел на бурового мастера. Старику оставалось два года до пенсии; его ждали купленные в Павлограде полдома, полсадика и пол-огорода, а спокойно копать на своем участке на юге до смертного своего часа - вот все, что ему действительно хотелось, ну и молоденькую женщину в теле. А с хорошей пенсией и со скопленными деньгами найти такую на юге, где баб вообще много, будет легко. Нет, прав мастер, нечего вмешиваться, в случае же чего действительно можно будет во всем гебиста обвинить, а если мало будет, то гебиста и мастера. Молодой, выдержит.

Нефедов, видя задумчивость и колебания старика, скривился:

- Тут нечего думать; давай, бригадир, топай и действуй.

Вступив в пургу, уйдя от сковывающей его внутренней мощи мастера, старик пожалел о будущем вынужденном бездействии. Он парторг, а Вропский этот - враг советской власти. Хорошо было бы с ним разделаться, раздавить гадину. "Из-за таких житья нет". За свою уже долгую жизнь парторг навидался разных врагов советской власти. Они все и всегда уничтожались. Не было никогда ни у одного и малейшего шанса. И так будет всегда. Так не лучше ли всем идти в ногу с властью? Нет, опять же всегда находились сволочи-психи, как этот Вропский.

Пурга вошла в полную силу, пригибала к земле, толкала прочь от вышки, стремилась привычно уничтожить все живое. Старик с тоской прошептал:

- Эх, Россия, Россия.

Нужно было еще дожить до пенсии. Ему до сих пор везло. Большинство его однолеток было уже на том свете, и далеко не все спокойно умерли. Такое время было. Подставляя пурге как можно меньше своего тела, парторг стал пробираться к вышке.

Нефедов устало присел к столу. Рация все была нема. Он погрозил ей кулаком, после - белому окошку, пурге, невезению, опасности, Березову, подумав, и Вропскому. Странная музыка стихов... фамилию поэта

он уже не мог вспомнить... не переставала тревожить. В них были любовь и мрак, даже любовь к ненавистному своему мраку, потому что чужого мрака человек не желает. "Неужто я люблю все вокруг меня? Что я такого плохого в жизни сделал, чтобы все это любить? Я же нормальный". Древний дед, русский с лицом казаха, - было тогда проливное среднеазиатское солнце, много вина, бараны вокруг - сказал ему после третьей бутылки: "Человек становится сам собой только в критических ситуациях, когда обнаруживает естественность своего безумия. Часто человек несет в себе бережно, как подарок неба, все остальное существование, свою внезапную любовь к смерти, свою страсть, сильнее жизни, к идее или женщине, свой порыв, давший ему на мгновение ощущение бессмертия". Нефедов с грустной усмешкой решил: у него глупая память - помнить слово в слово такую чушь. "Это интеллигенция наша засранная меня смущает, с толку сбивает; тот же гебист, Вропский; дед тот... да он просто перед смертью о молодости своей жалел; гебист выжить хочет, испугался, хочет народ отвлечь любым путем, а Семен из любви к себе за правду костями лечь стремится. А я... а я уши развесил. Действительно ли развесил? Вась, а, Вась, будь честен с собой. Ничего ты не развесил, тебя просто тянет к ним, к умненьким, сложненьким, красивеньким". Не выйдет! Пропадите вы все пропадом. Я хозяин этого хозяйства. Остальное - болтовня, поэт тот - болтовня, все права человеческие - болтовня".

- Вася, что случилось?

- Разбудил я тебя, Оленька, лапушка, прости. Неприятности у нас большие.

Еще не ушедшая полностью от сна Шубина была желанна чуть разбухшими губами, растрепанными короткими волосами, простодушием взгляда, изгонявшего последнюю пелену забвения. Нефедову захотелось невозможного: пойти закрыть дверь вагончика на запор и быть вдвоем с Олей, пока вышка не взорвется. "Это уже точно не интеллигентские бредни. А, может, как раз и есть? Запутался я... Но так выпутаюсь, что все вы, суки..."

- Какие неприятности? С Семеном?

- Это само собой. Тут другое. Дизельного топлива для нашей буровой не подвезли, а при такой погоде

- не подвезут. Дальше - больше. Через пургу радиосигналы не проходят к нам, а к ним - Бог ведает, а я не знаю, слышит ли меня управление, база или нет. И вот только вскрыли газоносный пласт, тоже раньше времени - а когда такое, нужно проводить прокачку скважины непрерывно. В скважине, видишь ли, должен все время находиться создающий противодействие столб раствора, а раствор этот непрерывно же должен обмениваться, иначе будет разгазирование. Солярки у нас почти нет. Кончится она, перестанут работать насосы, нагнетающие раствор на двухкилометровую глубину. Я приказал перейти на холостой режим, прекратить бурение. Но и так хорошего ждать нечего.

Шубина молилась как умела. Ей было стыдно обращаться громко к Богу с искалеченными молитвами, но ушла безвозвратно из памяти половина выученных в детстве правильных религиозных слов. Ей так хотелось постоять в церкви, исповедаться, что ныли кости.

- Дай мне, Господи, успокоение, дай мне себя понять...

Наступала полярная ночь. Люди на буровой были здоровы телом, а вот душевные их порывы могли потревожить любого начальника. Стали топить только самый большой из двух домиков вышки. В нем, переполненном и недотопленном, люди ходили в телогрейках, ватниках, бушлатах и странно оглядывались, будто поджидали врага. Кто-то приколотил в углу столовой образа; одни на них молились, другие ругались. Многие вспомнили: парторг, оказывается, действительно парторг - его облевали с головы до ног. Стали играть в очко на удар кулаком. От крови из разбитых губ и носов стало легче, веселее. Повариха спокойно ударила зарвавшегося электрика сковородой по лицу, и уважение к ней из людей пока не ушло. В доме все сильнее воняло блевотиной, грязным телом и смятенной душой. Березов и Вропский играли почти непрерывно в шахматы, порой вслушивались в хрипевший транзистор, иногда, выпив бутылку водки, ораторствовали перед трудовым коллективом. Вропский говорил о жизни не по лжи, о совести, российской культуре, воле, истории прав человека. Березов - что прошлое, настоящее и будущее связаны воедино, об умной надежде, о людях, губящих

вместе с властью и себя, как это устроили наши прадеды и деды, как некоторые теперь хотят сделать, о свободе, правах и обязанностях: чем больше свободы, тем больше не только прав, но и обязанностей. А так - государство бьет, но оно и охраняет, обеспечивает минимум. Об этом тоже думать надо. Шубина слушала и видела с радостью, как зреет в людях любовь к Вропскому и злоба к Березову. "Семена они хотят слушать; у них глаза горят, грудь поднимается, когда он говорит о достоинстве человека. Они тянутся к свету".

Возвращаясь в вагончик, страшась отпустить канат, пургой вырываемый из рук, Шубина говорила себе, окруженная свирепым снегом: "Они тянутся к свету... но ведь со звериными мордами. Они идут из мрази к правде и от нее снова бросаются в мразь. Чургучева, эта тварь, отвратительней гебиста. Она их спаивает, лишает мыслей, покрывает своим рыхлым телом. Цирцея-свинья... Станным стал Василий, он будто железнеет изнутри, взгляд совсем стал бездушным. Говорить почти перестал, целовать перестал - наваливается, как пьяный. Я в прошлую ночь забыла его перекрестить".

У самого вагончика Шубина увидела: дверь открылась, вылетела, покатила кубарем человеческая фигура и, став на четвереньки, стала пробираться к канату.

Нефедов сидел задумчиво за своим письменным столом.

- Что, Оля, погуляла?

- Это ты только что выбросил человека?

- Я. Ты веришь в судьбу?

- Да. Есть судьба, но не она тебя таким жестким сделала. Нельзя так с людьми обращаться. При падении потерял бы человек сознание, откатила бы его буря, а мороз бы доканал.

Задумчивость не покинула лица Нефедова.

- Возможно. Этот дурень заслужил, чтобы его списали. Он один из бурильщиков. Во время его смены прихватило трубы, бурильные к твоему сведению. И засосало инструмент глиной. Он взял да сам попытался выдернуть трубы, из скважины к твоему сведению. Результат: перегрузка. Верхний горизонтальный пояс, вышки к твоему сведению, дал погиб. Теперь может прекратиться циркуляция раствора... А уровень топли-

ва в расходной цистерне все падает. Судьба она, Оля, как сердитый домовой: все в доме падает, все скрипит, все ломается. Думаю, наш домовой-кустовой рассердился. Надеюсь только, не хочет он нас губить, авось испугом отделаемся. Слава еще Богу, что новый пояс есть. Надо ставить. Надо людей найти. А они ныне звери, как шатун, только не имею права на них идти с рогатиной и топором. А ты мне рассказываешь о людях, падающих в снег. Знаешь ли ты, к примеру, что прошлой ночью приключилось? Бутасова вешали. Буханку спер. Его судили и осудили за десять минут. Одна из моих шестерок доложила. Я его спас, дал за него тушенку из НЗ. И правильно выходит, что вынул гадину из петли - он монтажником был, пока ногу не сломал года три назад. Он мне живой нужен.

Шубина слушала лишенный малейшей страсти голос Нефедова, смотрела в лицо, ставшее своим выражением по ту сторону добра и зла, и увидела таившуюся в нем чудовищную для себя тайну. Но не смогла ее разглядеть, стала словно на мгновение откровения близорукой.

- Отдохни. Тебе, наверное, трудно видеть людей людьми, без прикрас. Я вернусь не скоро.

Появление бурового мастера вызвало в доме хохот.

- Учужал! У нас кошка отрусилась! Ты, мастер, на крестины пришел или на поминки? Не выдадим котят! Не дадим топить! Наши!!!

- Где НЗ прячешь?! Вора выкупил! Где НЗ?!

- Смотри, мы и на тебя суд наведем! Ты виноват! Что нам, подыхать тут? Сволочь! Гад!!

Один из орущих от удара поднялся в воздух и рухнул без сознания на пол. Другой отлетел от нефедовской ноги в угол, стал повизгивать. В наступившей тишине Нефедов стал, едва раскрывая рот, орать:

- Всех искалечу! Суки вы, нечеловеки. Весной надуется лед, нальется почка, а вы только гнить начнете. Не трупы вы еще. Вы - мое хозяйство, а я не привык казенное имущество портить!

В раздавшемся густом смехе злобу сменило добродушие:

- Надо новый пояс поставить! Кто откажется, то-

му на месте хребет сломаю. Вот-те крест!

Буровой мастер истово перекрестился в передний угол, поглядел на изумленно раскрывающиеся рты со скрытым злорадством. "Оторопели. Чуют в необычайном моем жесте крутую угрозу. Я им кажусь непобедимым".

Нефедов привычно не боялся. Калечить психику людей, находящихся под его началом, он считал самой интересной частью своей работы. Признавался он в этом редко, но как-то сказал Шубиной: "Народ подобен тигру, руководитель - дрессировщику. Пока дрессировщик силен да умен, тигр ему руку лижет и во всем слушается, но когда чувствует или понимает: хозяин стал немощен - набрасывается без лишних разговоров. Я, чего греха таить, люблю эту игру трудную - заставлять людей верить в меня, в мою непобедимость. В конце концов им же лучше: меньше ЧП и больше зарплата".

- Лошадь! Где Лошадь? Разбудить! Недовешанный! Прохоренко! Все бывшие и будущие монтажники - на выход! Даю десять минут на сборы. Сначала сменим стержень. Нужно будет повозиться. Сильно увело в сторону отверстия. Для растяжки вертикальных стоек нужны два трактора. Как думаете?

Деловой гомон заполнил помещение. Люди с удовольствием стали давать советы буровому мастеру, кричать, спорить. Засверкали железные зубы.

- Один трактор справиться может, лишь бы водитель не был говном.

- Не то говоришь. Трактором одну стойку оттянем и застопорим гусеницы, а тягачом будем вторую стойку под размер натягивать, отверстия совмещать.

Довольный собой Нефедов вышел. Его догнала Чургучева.

- Отцепись и учти: если кто триппер подхватит, худо тебе будет, веселая-водочная. Блядь и спекулянтка, только этого мне не хватало.

Чургучева, еле достающая Нефедову до груди, похожая на обжиревшего таракана, подняла вверх к его лицу красивые, вдруг погрузневшие глаза.

- За что это ты меня так, Васенька? Я на каждой бутылке лишь по рублю зарабатываю, и ты это знаешь. А за любовь не только денег, подарков никогда не беру. Жаль мне людей. Они добреют на мне, очеловечива-

ются. Я им никто, и они мне никто, вот и могут со мной без оглядки. Вчера Коник про жену-стерву рассказывал, плакал, я поплакала... Я их веселю, успокаиваю, себя отдаю любому, кто хочет. А ты...

Нефедов положил ей лапы на плечи:

- Прости. Нервы. Ты права, конечно, только, сама знаешь, всегда хочется найти виноватого, даже когда наверняка знаешь: виноватых нет и быть не может. Ты вовремя приехала, и, если без смертей все обойдется, заслуга будет во многом твоя. Забудь, что сказал.

Она погладила рукавичкой его рукавицу. Ответила серьезным голосом:

- Уже забыла. Только, боюсь, не выйдет без крови. Люди как на крохотный необитаемый остров попали, а тут еще Березов с Вропским подливают масла в огонь, о власти говорят, ругают, оправдывают. В споры и ссоры идеи начали проскальзывать. Одного парня давеча не только за буханку вешать хотели: он говорил, ГБ нас защищает от шпионов, и когда его хватили и судили, кричали о нем как о предателе, заступнике лягавых, шестерке. А когда человеку тяжело, злобно и он становится идейным, то - совесть перестает его мучить, хоть детей жги. И поварихе твоей скажи, чтоб не играла. Выбирает перед народом любовника, остальные ревнуют, а она радуется.

Нефедов посмотрел на часы - истекало время ультиматума, ему же не хотелось больше сегодня бить, рвать человеческое мясо, калечить души. Он ответил рассеянно Чургуевой:

- Против идеи годится только другая идея, тут ничего не поделаешь. А Клаву ты зря так. Ее уважают. Ну, иди, замерзнешь так, что никто не отогреет. И - спасибо. А, идут молодцы! Терентьев, живой?

- Я различил, страховитый ты нынче, начальник. А чего мне голову терять? Я лучше помедлю, и, кто знает, дозволено будет твое место взять... шутю, я ж тебя уважаю, хоть ты и коммунист.

Буровой мастер остался доволен лишь наполовину: пояс сменили, но его приказ снять застрявшего на вышке Недовешанного никто не выполнил: "Пусть руки у вора отвалятся, пусть подохнет, а мы жизнью рисковать не собираемся. Сам полезай, раз командуешь".

Терентьев посоветовал мастеру:

- Не жми на педали, беспрерывно в яму попадешь. Тот, дурень, охотник был обелиться, вот и пересидел на высоте, с такой тушей да в такой ветер сам себе хребет порушишь. Да и вообще оглядывайся.

Пришлось самому греть рукавицы в кочегарке и лезть на вышку, бить Недовешанного по губам, натягивать ему на руки горячие рукавицы, вливать в глотку спирт, взваливать его на спину и спускаться под крики людей, приветствующих, будто на стадионе, его подвиг.

Новая попытка вытащить застрявший в скважине инструмент ничего не дала: бурильные трубы не шелохнулись. Вылив в себя полфляги спирта, Нефедов поглядел на все падающий уровень топлива в расходной цистерне, и его впервые охватила легкая паника: беспомощность с силой проникала в его мысли, окутывала их, сжимала, вытесняла волю. Тело, безропотно ему служившее, с трудом вынесло последнее испытание - оно стало ныть, долгой болью шептать ему о пределе, за которым и оно откажется ему подчиняться. Пурга казалась вечной, а он себе от страха и одиночества - на мгновение свободным от всего, даже самого себя.

В вагончике Нефедов сел за свой красивый стол и, уронив на руки голову, стал бормотать Шубиной:

- Мало сил у меня осталось. Или мне хочется, чтобы сил не стало? Хочется, чтобы пропало все пропадом? Что я, богаче всех, умнее всех, всех дурнее? Зачем мне все это нужно?

Шубина сказала жестко:

- Потому что ты - власть!

Нефедов поднял голову, злобно рассмеялся:

- Ну вот - выпалила слово. А берегла долго. Власть! И я свое выпалю: интеллигенция! Вы, интеллигенты, полуинтеллигенты, четвертьинтеллигенты, власть презираете, отвергаете ее, хотя ее сметану жрете! Брезгуете, чистенькие и возвышенные, умненькие и начитанные. А предложить что можете? Ничего. Будто я нашу власть люблю! Как бы не так! Пакость наша власть, ничего не умеет, никакой выгоды от нее нет. Ну и дальше что? А ничего, кроме пустой болтовни. А хозяйство, что, не должно дальше жить, детишкам на

свет, что ли, не рождаться, землю не надо больше бурить? Вот посмотри на мое хозяйство: я хочу, чтобы люди не погибли и чтобы вышка осталась, хлеб наш насушный; только чуть не упал с вышки, спасая человека; стремлюсь, чтобы работники в отчаянной скуке и страхе друг друга не зарезали. А один тут о правах человека болтает, народ мутит; другой, шкуру спасая, о порядке государственном рассуждает да стихи об умирающей России читает, тоску нагнетенную нагнетает. А ты, интеллигентка, верующая в Бога, вместо того, чтобы молиться и спасать нас, меня властью тыкаешь-попрекаешь. Терентьев давеча припомнил мимоходом, что я член партии, да посоветовал оглядываться. Мстит за охоту. А почему мне было в партию эту говенную не вступать, если она мне давала вступлением возможность устроиться, квартиру получить, работу интересную иметь! Что я, об стенку головой, должен был здесь биться, будто и так не могут у нас запросто человеку, за здрасте, ее сломать. Что мне эта власть, дайте лопату, я ее сам похороню, только нет у вас лопаты да нечего на ее могиле построить, только слова пустые, красивые и мутные. А у меня хозяйство, работа, люди. Я должен их спасти, людей и вышку, и я их спасу! Правильно говорила в Нарьян-Маре Таня: все вы как говно в проруби. А я еще к вам, дурак, тянулся, чего-то искал... Нет, я все равно Куст спасу. Спасу!

Последнее слово Нефедов заорал истерично. И начал успокаиваться; бледность стала теснить красноту лица и шеи; кулаки разжались, стали тихими ладонями. Взгляд пустой уперся в рацию. Тело удобно обмякло в кресле.

Шубину испугал взрыв слов; ей померещилось, он набрасывался на нее, чтобы убить, и вместе с тем знала: он не мог этого сделать, он никогда этого не сделает. Ожесточение, обрушенное на нее и на любимый ею мир гармонии, вежливости, утонченности, вызвало в ней необъяснимое чувство гадливости не к Нефедову, а к миру, им защищаемому. "В этом его трагедия. Ему кажется, усталому, что он выбрал этот, окружающий нас мир грязи, грубости, пошлости. И все потому, что, понимаешь ли, интеллигенция не раскладывает ему на блюдечке настоящее и будущее, не указывает ему

точного пути борьбы, не идет впереди, не погибает первой на баррикадах, не роет вместе с ними землю. Интеллигенция будто им что-то должна. Ничего она им не должна. Кто интеллигенцию, как говорит дедушка, топтал, вешал, жег, уничтожал как класс? Те, которым она протягивала руки, в которых были свет и красота Нет уж, хватит. Мы, слава Господи, ничего вам не должны, будем учить, когда захочется, указывать издали-ка путь, когда заблагорассудится. Мы не в долгу. Мы не сословие, находящееся на служении у класса".

Шубина подошла к столу сказать Нефедову все продумавшееся слово в слово, но Нефедов спал, и она, постояв над ним в ласковой и доброй позе, осторожно поцеловала его в щеку. Перед сном она помолилась за него.

Проснувшись от чужого присутствия, Нефедов с неудовольствием подумал: "Опять забыл дверь запечатать. Так и зарежет народ, не даст времени в последний раз о себе подумать. И зря я так разоткровенничался давеча, хорошо хоть перед Ольгой только. Сколько разов нужно повторять тебе, Нефедов: держи нервы на замке". Перед ним на корточках сидел-ждал кочегар, ладный парень с бешеной прической - вихри давали ему озорной, залихватский вид, но Нефедов отметил при первой с ним встрече-разговоре в его голосе легкую гугнивость, в глазах - легкое, но постоянное бегство, вообще в характере - весьма относительное человеколюбие и решил: "Будет хорошей шестеркой". И не ошибся - парень доносительство не обожал, но относился к нему серьезно, как к работе более нужной и выгодной, чем к привычной и нудной в дизельной. Потому не чудил, не сочинял, не увлекался. Сама татарская его привычка приседать на корточки указывала на издревле знаменитую татарскую честность в работе, хотя сам парень татаринем не был. "Жил, возможно, среди них. И движения лица, жесты у него часто восточные. Хоть что-то у них перенял, а то остался бы наверняка червь-червем."

- Говори.

- Работает один-единственный дизель, в котельной пламя едва живо, энергии надо побольше дать. От-

пустите ее чуть больше, товарищ начальник, а?

- Мне солярка для другого нужна: головы ваши спасать, бараны головы. Говори дальше.

- На Кусте кончается не только водка, но и самогон, и спирт. Люди все трезвее и трезвее, все злее и злее. Парторга ударили чайником по голове, но он в шапке был, так что только поспал чуток. Это ничего, а то, что над ним хотят суд учинить, - это совсем плохо, правда, товарищ начальник?

Нефедов сохранил невозмутимость громадным усилием воли:

- Суд говоришь?

- Суд, суд. Сначала будут судить парторга, а после - Березова. Это выдумал Андамиров. Он главный. Его сразу поддержали Гулько, Кромов, Терентьев, Кутаков, ну и десяток других. Все развеселились. Кромов - главный агитатор; он всех остальных, не понявших сразу в чем дело, сманил. Здесь он, вы бы его видели, товарищ начальник. Зря вы к нему хорошо относились.

- Ну, а Березов и Вропский?

- Режутся в шахматы и все о чем-то спорят. Я слушал, прислушивался: ничего не понял, словно не по-русски говорят. Повариха наша позавчера объявила, что собирается Вропского к себе в любовники брать, мол, все его обижают, зла ему хотят, а он только с добром к людям. Но как только заявили о суде, она отказалась, но о Березове ничего не сказала, хочет она его или нет. Блядь Чургучева пытается отвлечь народ, вместо суда другую забаву придумать. Не очень у нее это выходит.

- Ну и молчи об этом. И когда суд?

- Порешили, что после ужина. Плохо это. Спиртного нет. Озвереют к вечеру люди совсем. Против власти говорят. Стали говорить о свободе, потребовали, чтобы Вропский, не Березов, стихи им читал. Он и читал. Как будто хорошие, хотя не всегда понятные.

- О суде говорил что-нибудь?

- Нет. Отказался. Ему люди сказали, мол, нам терять нечего, всем нам пиз... хана, мол. Вся вышка, весь Куст в пургу полетит, а не полетит, все равно пурге конца и краю нет, ну, и нам тоже нет конца и края, мы сами по себе можем, хватит, мол, натерпе-

лись. И всякое такое. Вропский им сказал, что без надежды нельзя, но они его слушать не стали. Старый Потапенко заикнулся о работе, так они его без суда выпороли, всыпали двадцать горяченьких.

Встретив мрачный, тяжелый взгляд бурового мастера, парень потупился, слегка засуетился, словно выискивая, чего же он недоговорил или переговорил. Нефедову хотелось спросить, не собираются ли его самого, хозяина Куста, судить, не утаил ли это, боясь немедленной расправы, шестерка. Но сдержался. Все равно никуда не убежишь. А шестерка в случае чего непременно перекинется к победителям, тут же расскажет о страхе начальника за свою шкуру, а слабость в подобных условиях может стать толчком к мгновению, за которым нет больше пощады.

- Сколько активистов?

- Человек пять-шесть; может быть, десять. Все орут. Трудно разобраться, кто ведет, а кто следует. Я пытался, кое-кого выявил, но и я ведь должен быть осторожным.

- Да, конечно. Я тебе этого не забуду. Ты хорошо поработал. Молодец! Все тебе будет. Обещаю. Иди да шевели ушами.

Заперев дверь, Нефедов достал початую бутылку спирта и рассеянно допил ее залпом. Выдохнул сильно на ладонь, рукой вытер спирт на губах. Поколебавшись, вышел в одной телогрейке в пургу. Он с наслаждением наблюдал, как спирт в его теле боролся с морозом, превращал его в свежую прохладу. Так бывает, когда раскаленный после парилки бросаешься в ледяную воду, когда на коже твоей извечная борьба огня и воды бросает тебя в истому не менее сильную, чем любовь. "В парилку бы теперь. Квасную. И чтобы банщик был опытный, веник проверенный, мягко-упругий. И чтобы пиво было холодное. И разговор уютный, со смехом и прибаутками, занятыми историями. Так, чтобы тело, душа и настроение вышли из парилки чистыми, легкими. Вот она, настоящая радость жизни. А на этом Кусте даже баньку по-черному не сколотишь: материала, времени - ничего нет, одна ночь, снег и ветер".

Тело уже сильно остывало, удовольствие пробега-ло по нему только узкими волнами. Под мыслями о бане слетались, сцеплялись, копошились планы спасения,

своего, людей, Куста, в общем - будущего. Вышку накрыло льдом, занесло снегом. Но механизмы продолжали действовать, циркуляция раствора в скважине еще была. Но сегодня-завтра могло произойти разгазирование раствора, падение его удельного веса, падение противодавления и - выброс газа из скважины, то есть смерть. Это настоящее. Сегодня вечером могли приговорить к смерти и казнить гебиста Березова. Это тоже, так или иначе, смерть для всех, но в будущем. Мятаж никому не простят. "Никому и никогда. Только есть у меня козырный туз. И я его шлепну, если Бог даст, на стол". До головной боли Нефедов слушал хрипы рации и транзистора. Сжимались сотни раз руки в желании разломать хрипяще-трескучие металл и пластмассу. Но вчера ночью он отпрянул в радостном изумлении от ставшего привычно ненавистным уродливого шума избиваемых природой радиоволн.

Вернувшись в вагон, Нефедов достал из тайника непочатую бутылку спирта, наслаждался первым глотком.

- Прости, я опять все слышала. Не знала, что у тебя доносчики есть. Тебе не противно? Как ты можешь иметь дело с таким слизняком?

Шубина стояла перед ним ладная, красиво-умная; беспокойство на ее лице и в ее словах было твердым, решительным, он решил - покровительственным. Ему стало странно, неужели несколько мгновений тому он мечтал... "Что с ней? Надоело. Тоже мне".

- Мирку нашему грозит апокалипсис, мы все можем в любую минуту погибнуть к чертям собачьим, а ты мне мораль читаешь. Ты ведь слышала?

- Слышала. Будет суд. И пусть этого гебиста, этого кровопийцу, этого палача осудит народ. Пусть.

- И казнит?

Она поколебалась, но ответила твердо:

- Дело не наше, народа, людей. Наше дело - спасти Семена. Это долг души, наша святая обязанность. Семен - замечательный человек, подвижник, он - наша совесть. Оставь гебиста его судьбе. Не вмешивайся. И ты спасешь Семена. Ты это должен сделать!

Нефедов вновь попытался сохранить хладнокровие; жгучая волна злобы, загудевшая в ушах, рвалась в мир. Нефедов, склонив голову, чтобы Шубина не могла видеть его лицо, запихивал волну обратно, к ногам, в

пол и землю. От усилий ему показалось, он начал распухать, а все толкал и толкал остервенело, чтобы наконец с огромным облегчением признать свое поражение истошным воплем:

- Надоело! Что ты мне вечно мораль читаешь?! На себя погляди! Все вы чистенькие! Учите! Мне Куст надо спасать, людей надо спасать, себя, тебя! А после людей, себя, тебя от ГБ спасать. Людей от себя самих, ни хрена не понимающих... Воли им захотелось, свободы. Вече! Вече! А ты мне тут Вропского подсовываешь!

Дрожа, Нефедов судорожно передохнул, заговорил спокойным голосом - в нем была обида за непонимание:

- Семена я должен, я обязан отдать ГБ, чтоб остальных спасти. Другого выхода нет. И я обязан взять на себя за это ответственность. Он, чудак, действительно хороший человек и справедливости добивается. Но время еще не подошло, время еще не то. Неужели неясно? Он не только себя, он всех погубит... Это они, Вропский и Березов, и в одинаковой степени, своими спорами толкнули людей взять власть. Неужели ты не понимаешь, что происходит? Это же революция, пусть в миниатюре, но - революция. Они же хотят судить не Березова, а власть, ими свергнутую. Начнут они ведь не с него, а с нашего бедного парторга. Хватит. Я должен пожертвовать Семеном, и я это делаю.

Он увидел: она ничего не поняла. Глаза ее были полны ужаса, женского и наивного - так смотрят на погибшего ребенка.

В мозгу Шубиной застучали ясно слова, она ощутила: они начали жить в ней, обрядившись туманной беспомощностью и малоприметной разочарованностью, уже давно: "Я не могу его спасти. Я зря жертвую собой ради его спасения".

Ладони Шубиной сами как бы приготовились участвовать в молитве:

- Умоляю тебя, Вася, Васенька, не делай этого, не губи себя, не губи свою душу. Тебе трудно, ты страдаешь, душа твоя чернеет. Из-за меня. Я знаю. Не дай ей стать черной. Второй грех убийства Господь никогда тебе не простит. Он ведь будет предумышленным. Я не смогу тебя спасти, мои молитвы не дойдут

до Него. Не делай этого!

Нефедов удивленно отпрянул. "Она что, рехнулась? Да у нее нервная горячка начинается". Мелькнула мысль о враче. "Да она сама врач". Он спросил тихо и ласково:

- О чем ты, лапушка? Какой грех убийства? О чем ты говоришь? Приляг.

Все лицо ее сморщилось:

- Не пытайся, не пытайся. Ты из-за меня человека убил, тогда, на дороге.

Нефедов радостно расхохотался:

- Ах, вон оно что! А я уж было подумал... Мы тогда и познакомились. У него был гаечный ключ, а я ему врезал по кумполу. Туда и дорога. А что?

Шубина потеряла сознание мгновенно. Бросилась от его радостного смеха, слов, добродушной улыбки в забытье. Она упала на пол с деревянным стуком. Нефедов посмотрел на нее растерянно и схватился за голову: "У нее точно горячка. Что делать? Все равно лекарств нет... Очухается, сама скажет, что делать. Не время голову терять. Все на башку мою сегодня валится. Выдержать, выдержать надо".

Уложив Шубину на койку, бездумно озабоченными движениями подоткнув одеяло под больную, он пошел в дизельную. Держась за канат, Нефедов старался увидеть в пурге слабеющую ярость.

- Пойдешь тайно, найдешь тайно и приведешь сюда тайно парторга и Недовешанного.

Шестерка поспешно и не без гордости закивал головой.

Парторг сказал с укоризной:

- Я же говорил, Вропского следовало обезвредить. Ты меня, начальник, не послушал и совершил большую политическую ошибку. - Парторг все время оглядывался, смотрел во все углы.

"Ему, может, до смерти пустяк остался, а все туда же, выгораживает себя по привычке".

Буровой мастер смотрел насмешливо, как Недовешанный повторял движения парторга:

- Все знаю. Надо действовать. Циркуляция слабеет. Раствор может разгазироваться. В любом случае надо до суда спасти Куст. Будем выдергивать инструмент на предельных нагрузках.

Недовешанный сразу сказал:

- Может рухнуть вышка. Новый пояс не выдержит.

Буровой мастер покачал головой:

- Вас сегодня могут прикончить; кроме того, может быть выброс. А при выбросе на наших грунтах грифоны снесут весь Куст вместе с буровой.

Парторг мрачно, ни на что не надеясь, обронил:

- Надо проверить аварийные задвижки.

- Это как умирающему припарки. Но все же...

Так, я к рычагам пойду. Ты, парторг, будешь следить за раствором; как газ нос высунет, сразу бросайся к ним, к аварийным. А ты, как недовешали тебя, будешь следить в дизельной за оборотами. Вопросы есть?

Парторг забубнил обреченно:

- Нужно всех от Куста отвести. Будет выброс, все сгорят синим пламенем.

Нефедов с презрительной злобой выдохнул в лицо парторгу:

- Старик ты, а сопляк. Гниль. Правы они, давно пора гнать вас всех к черту!

Парторг, отворачиваясь, кривя шею, забормотал:

- Кто они? Кого вас? Ты сам кто? Ты, знаешь, говори да не заговаривайся.

В голосе парторга появились отчаянные нотки. Он резко повернул лицо к Нефедову, дерзко посмотрел, открыл рот для крика и вновь стушевался, и вновь забормотал:

- Да что ты, что ты, я ведь дело говорю.

- Нет. Не дело говоришь. Сказать правду людям, да они вас разорвут как мучителей. Разорвут, а мне вышку не дадут спасти. Сами сгинут и нас погубят. Нет, пусть себе там суд готовят. Либо все спасем, либо... Да ты не бойсь, где наша не пропадала. Ну, все, по местам. И с Богом.

Вышка заскрипела, застонала сквозь пургу. Скрежет металла становился с каждым рывком, с каждой Нефедовой попыткой все сильнее, входил все глубже лезвием страха мастеру в оледеневший желудок, шел к сердцу. Гудение натянутых тросов на тальблоке тянуло нервы, рождало нервную боль. Заколело в сердце. Руки выпустили рычаги. Нефедов с удивлением увидел: кроме него и проклятых сопротивляющихся труб есть снег, ветер, мир.

Он побежал посмотреть, нет ли газа в растворе. Вернулся. Нужно было начать вторую, возможно последнюю, попытку. Тряслись руки. Он присел перекурить. "Может, последняя это беломорина, последние движения, мысли. Меня не будет, будто и не был я на этой планете, в этой стране. Ничего не будет. Ничего не было. Ничего я не успел. Никто не вспомнит. И мне не о ком вспомнить в такую минуту, когда как на та-ран иду".

Нефедов стал медленно перебирать в уме людей, о которых хотелось бы вспомнить в такую минуту, которые, им отделенные от массы людей-воспоминаний и им наделенные на несколько мгновений самостоятельной жизнью, могли бы с ним поговорить и ему помочь. Мелькали тени без лиц, с полулицами, с четвертьлицами, красивые татуировки на спинах веселых банных товарищей, губы женщин. Пришло милое, усталое лицо матери, но он его прогнал - дельных советов мать никогда ему не давала, скажет после его смерти, что всегда говорила: "Смотри не простудись. Держись в стороне от хулиганья. Не бери пример с отца: пил и бросил нас, окаянный"... Худенькое, бело-бледное лицо Тани Барабановой Нефедов узнал сразу и с радостью задержал.

- Ты мне и нужна, Танюша. Ты одна. Ты сказала, что наша интеллигенция должна нам служить, народу, советами, примером, не руководящими указаниями. Вот и посоветуй... А, значит, говоришь, правильно я делаю, а, значит, я благородный, а, значит, я всех спасу, а, значит, я герой. Так. А как насчет Семена и гебиста? Что, тоже правильно делаю? Так. Тут ты врешь. Это уже не совет, а поддакивание. Ладно, я понимаю: ты искренне хочешь мне помочь. Все. Начинаю. Будешь со мной? Спасибо.

Нефедов, рассмеявшись скрипучим смехом, отбросил папиросу и взялся за рычаги. Металл заскрежетал, вышка будто качнулась. Нефедов сказал громко:

- Господи, если Ты есть, если Ты есть, помоги мне, ну, что Тебе стоит? Помогите!

Мастер закрыл глаза и резко потянул на себя рычаг. Трубы с тальблоком пошли вверх свободно.

В домике был полумрак. Запах мочи, нечистых тел был по-прежнему всепроникающим, но дух блевотины исчез. "Спиртного почти не осталось. Хорошо". В углу молились несколько человек. Стулья, ящики, табуреты были расставлены как перед собранием. Впереди, там, где было больше света, стоял одинокий стул. "Для подсудимого. Но кто все это организовал?" Вропский и Березов сидели рядышком. У обоих - воспаленные глаза и словно старческая кожа.

- Ну как, приятели-враги?

Березов повернул лицо. Глаза его ушли в глубокую тень, в ней утопал и подбородок.

- А, начальник. Семен хочет быть моим Кони, моим Плевако, а я его отговариваю. Он психологии масс не понимает. Ему кажется, люди будут тронуты его благородством и потому вынесут оправдательный приговор.

- Что за кони?

- Кони и Плевако. Знаменитые русские адвокаты. Родную историю нужно знать, начальник.

Нефедов хмыкнул.

- На рожон, гебист, лезешь. Родную историю я так хорошо, как вы, не знаю, но могу точно сказать: мало было до тебя в ГБ добровольных дураков-мучеников. Но я человек простой, меня трудно обидеть. Я даже вот что скажу: ты прав. Будет Вропский твоим адвокатом - не миновать тебе петли. Люди ведь у нас, как и я, простые; они точно подумают, что дело нечисто, что пошантажировал ты Вропского, что заложник у тебя есть, что пообещал ты ему много, чтобы обещание, само собой, не сдержать.

Вропский головой повторил медленно жест Березова: его глаза и подбородок тоже погрузились в тень. Нефедову стало неприятно, будто они промелькнули тогда у рычагов полулицами. Но он лишь медленно усмехнулся. "У меня все козыри в руках".

- Не бойсь, бедолаги. И вот что, ГБ, я буду твоим адвокатом. Следовало бы по справедливости в яму тебя спихнуть, но какая же у нас справедливость...

Нефедов, удивившись изумлением и озадаченностью Вропского и Березова ("застыли, переживают"), Нефедов отошел к одному из отодвинутых к стене столов: за

ним компания шлепала картами, весело переговаривалась.

- В дурака режетесь?

- Садись, мастер.

Голос был дружеским, и, убедившись: гнев людей прошел над его головой, Нефедов сел. "Они действительно не меня, не начальство, а власть собираются судить. А посмотреть на ихние морды, кто же может подумать... Чудеса творятся здесь во мгле кромешной, а никто о них не узнает. И не надо".

Бурильщик, стареющий Сыроежкин карты держал важно, медленно поднимал и с силой кидал на стол. Глаза его искрились веселым безумием. Говорил он будто жевал что-то вкусное:

- Воля, ребята, воля. Не знаете вы, молодые, что это такое. А я вам расскажу, раз речь о ней зашла. Тому годков не так уже мало был я старателем в Бодайбо, слышали небось. Он далече, к Монголии, к Китаю нужно спуститься. Золотишко мы мыли. Что-то государству, что-то начальству, а что-то и себе. Времена тогда были жуткие, жив был еще хозяин земли русской Иосиф Виссарионович. Слышали про такого? Людей пропало тогда пропасть, лагеря были не то что нынешние курорты, мать твою. И с рубоном было худо. А нам, старателям, была лафа: когда лапу сосали, а когда на всю ивановскую кутили, как вам и не снилось. А воля... Волей для меня остался Дунькин пуп. Была одна шалава, морды не помню. Дунькой кликали. Мужиков принимала у одной сопки летом и зимой. Плата была одна: заполнить золотым песком ей пуп до краев. И все попадались. Потому как такого бездонного пупа по всей стране отыскать было невозможно, да и пузо она при расплате растягивала, будто в цирке, а не в бардаке всю жизнь проработала. И сыпался песок золотой в Дунькин пуп. А сопку так и называли: Дунькин Пуп. До сих пор ее только так и называют. Правда, Дунька, если не померла, уже старуха. А сыпали ей, сыпали и гоготали над собой же, и не только не обижались, а возвращались к Дунькиному Пупу, хотя бледней было предостаточно, которые и меньше брали, и крышу над башкой имели. Почему? Воля была. Не было ставки: сам сыпал, сколько сыплется, размах был собственный, движение руки было вольное. Никогда не

забуду. Эй, Светка, покажи пуп, копейками набью.

Чургучева чаровала белейшими зубками. В полутемноте она казалась совсем круглой.

- Ребята, зачем вам суд, от него добра никому не будет. Вот вам мастер подтвердит. Не судите - несудимы будете. Пока живем - радоваться надо; зло, пусть и справедливое, - не наше дело, оно - глупое.

Кто-то ей погрозил пальцем:

- Вот, мутит и мутит, все уговаривает народ отказать от правды. Повариха наша вчера Вропского в полюбовники взяла. И молчит теперь, не вмешивается. Твоя, мастер, женщина, только вот к суду звала, к беспощадности призывала. Да вон она, в углу молится... Что ты, мастер...

Шубина стояла на коленях, лицо ее было обращено к образам. Почувствовав на плече руку мастера, она сильно вздрогнула всем телом и отползла от нее. Нефедов себя проклял: "Черт, вечно суюсь куда не надо. Мешать молитве - последнее дело. Но быстро же Оля очухалась. А быстро ли? Будто вечность с ее обморока прошла". Шубина, последний раз перекрестившись, встала, вплотную подошла к Нефедову, стала лицом к лицу - и Нефедов поразился. Он эту женщину никогда ранее не встречал, и только знание - это Ольга, это может быть только Ольга, и только почти уже привычка встречаться в последнее время с чем-то удивительно-небывалым убедили его: мрачное, враждебное ему выражение усталых глаз, высокомерно поджатые губы, заострившийся выдвинутый вперед подбородок принадлежат Шубиной.

- Оля, полегчало тебе? А я испугался... Все хорошо теперь... Не бойся.

Погустевший голос Шубиной был спокойным, беспощадно-холодным:

- Я тебя прошу, я настаиваю: больше ко мне не подходи, больше со мной не разговаривай. Я не желаю тебя больше ни видеть, ни слышать. Не перебивай. Молча выслушай и молча уйди. Ты мне противен. Ты для меня больше не человек. Как только все здесь закончится, я уеду, чтобы, надеюсь, больше никогда не встретить тебя на своем пути, даже если проживу еще сто лет.

Слушая, Нефедов мучился отсутствием боли, чувств. "Что со мной? Она такое говорит, а мне до лампочки". Он скривил лицо в поисках "отношения", нашел наконец чувство - скуку. Все, происходящее с Шубиной, ему было совершенно неинтересно, вроде мухи, наводящей жужжанием скуку-тоску. "А, все-таки тоску. Я все-таки тоскую. Нет, не тоскую. Неужели я такой бездушный, холодный человек? Это же Оля, женщина, которую я люблю, на которой женюсь... Не старайся, старина, нет в тебе к ней, психопатке, ничего настоящего. Чего она ко мне так внезапно переменялась? Рехнулась, рехнулась, другого объяснения нет и быть не может. Ну и черт с ней, пусть катится к Вропскому и Березову. Ну их всех на... Есть дела поважнее. Где Лошадь, Андамиров, Кромов? Скоро начнется концерт, я чую... Ну, посмотрим кто кого".

Он все еще стоял перед Шубиной и, опомнившись, увидел ее терпение и гадливость. Нефедов пожал плечами. Раздались голоса с разных углов. В комнате стало темнее, люди стали казаться расплывчатыми тенями:

- Пора. Начнем. Парторг - на стул садись.

- Всем садиться, всем решать, всем судить, всем обвинять.

- Давайте, товарищи, время не терпит, нечего откладывать. Как порешили, так и будет.

Нефедов поднял руку:

- Обвинять все будете, а кто будет защищать? Адвокат же нужен. Без него настоящего суда быть не может.

- Правильно мастер говорит. А что если и его судить?

- Нет. Он сегодня к делу не относится. Он правильно говорит.

- Правильно говорит. Он сам, небось, адвокатом стать хочет.

Нефедов повысил голос:

- Пошумели - будет. Да, я буду обвиняемых защищать. И предлагаю начать с гебиста, парторг подождет. Начнем, давайте, с главного.

- Правильно.

- Дело говорит.

Нефедов узнал голос Терентьева.

- Суд да расправу хоть тому, хоть этому, хоть им вместе устроить. Мой дед мальцом в пыли утиными носами играл, у отца и их не было, я пробками баловался и жрать хотел. Я ничего не забыл и забывать не хочу. Я простыни впервые в армии увидел, а мне, вы на морду не смотрите, еще и тридцати нет. Гебист здесь стихи читал, лапшу нам на уши вешал, в сторону нас уводил. А это саботаж. Так что - на плаху его, и дело с концом.

"Пусть наговорятся всласть. Стульев да голов больше целых останется. Но как все-таки Лошадь заговорил! Молодец, ничего не скажешь, оратор. Надо запомнить. Он гораздо более ценный, чем мне раньше казалось. Будет отличный бригадир. Ну, а Толя чего молчит? Эй, Кромов! А, вот и он, это его голос с визжинкой".

- Хватит! Поговорили. Никаких адвокатов нам не надо! Мы сами судьи и адвокаты, сами и приговор приведем в исполнение! Кто здесь, блядь, правды не хочет?! Все хотят! Будем же хоть раз, напоследок, настоящими людьми! Нам терять больше нечего!

"Загудели. Понравилось. Кромов прямо не сказал, но кольнул в большое, нервное место, задел главное... они все гуляют здесь, беседуют, смеются, молятся, а у всех в мозжечке главная сила - страх смерти. Все о смерти незаметно для самих себя думают и думают, страхом живут и стараются в смерть не поверить. Спиртное кончилось, продовольствие и курево на исходе, Куст стал крошечным островом, видимая глазом пурга - его границы, а остров этот может взорваться каждую минуту, и всех их может смерть поглотить. Она близка, а власть далека. Но и надежда в народе сильна, иначе не судили бы в темноте, иначе не устроили бы суда без зачинщиков. Вот, раскричались".

- Точно. Нам всем здесь погибать, так хоть с правдой!

- С правдой и Богом!

- Долой гадов! Это коммунисты виноваты! Коммунисты!! Коммунисты!!!

- Точно! Бросили здесь нас! Мордовали, а теперь под колеса пурге кинули. Замерзайте! Пеклу вышку отдали. Горите! Без рубона оставили. С голодухи войте! Не дадимся, ребята!

К Березову потянулись руки. Нефедов впился глазами в тени: потянувшийся на помощь гебисту Вропский отлетел как щенок; повариху, загородившую дорогу ("она Семену или гебисту хочет помочь?"), отпихнули.

- Вздернуть его на вышке, пусть первым погибает! По справедливости!

Березова толкнули к стулу. На свет. У Березова были разбиты губы, надорвано ухо; из разорванной телогрейки лезла вата. К его ногам упала истерически орущая Чургучева, отползла.

- Защищаешь гада, трипперная блядь! С ним и висеть будешь!

"А где парторг? Где? Да он, точно он, вон на коленях стоит под образами. Молодец! Самос лучшее место выбрал. Только не спасет оно тебя. Я тебя, сволочь, спасу! Пора".

Нефедов вышел театрально к свету, к одинокому стулу, рядом с Березовым. Увидел: гебист стоял усталый и ко всему безразличный. Он даже не ждал. "Фаталист, ушел куда-то в себя". Нефедов почувствовал к Березову глубокую презрительную жалость. "Тряпка. Ну, сволочь, ну, гад, все равно драться надо до конца. Размазня!" Желание махнуть рукой и уйти к себе в вагончик, а там умыть руки доставило мастеру большое удовольствие и нежность к себе. Он глубоко вздохнул и заорал, рвя голосовые связки, несурзное, смесь мата и отдельных взвинченных до предела шипящих звуков. Было в его длинном вопле что-то жуткое, человеко-волчье, понизывающее, вызывающее в человеке мгновенное чувство беспомощности. Тени были угрожающими, и Нефедов знал: он сам, громадный, властный, непоколебимый, заставит теперь себя слушать две-три минуты, но не больше...

В наступившей тишине он мысленно перекрестился. "Лишь бы голос не задрожал - и я их сомну".

- Я хочу защищать не гебиста, а вас. Вас всех. У нас у каждого есть будущее. Почему? Во-первых, инструмент освобожден - и опасность выброса миновала. Во-вторых, передали: через два дня пурге конец. Вездеходы дорогу сразу пробьют. С ними горючее, хлеб придет. И - власть! Начальство! ГБ! Прокуратура! Дорога к срокам! Все придет. Я вам говорю: опасность миновала. Другая пришла. Другая.

Нефедов передохнул: он знал - ему сразу поверили. Всем было ясно, что не станет мастер такой ложью подписывать себе смертный приговор. "Они уже не думают о воле, о Дунькином пупе. Все это стало прошлым. Теперь их заботит будущее. Главное: чтоб им теперь не пришла в башку глупая мысль освободиться от свидетелей".

- А в-третьих, у меня тут канистра спирта. И знайте: ничего не было. Ничего. Всем, и гебисту, в первую очередь гебисту, нет никакой выгоды говорить о том, чего не было... Не толкайся... Ладно, давай обниму... Подставляйте, подставляйте, всем хватит. Ну, разливай да по-честному.

Расталкивая беснующихся от радости людей, Нефедов повел Березова к выходу. Шепнул:

- Спокойно. У меня поживешь. На всякий случай. Береженого... Да и место у меня в вагоне освободилось.

Пурга показалась ему лаской. Он шел, уверенный в себе, как никогда раньше.

- Мастер, я никогда не забуду, что ты для меня сделал. Век не забуду, ты меня от смерти спас. И ты прав: всем нужно забыть о происшедшем. Всем.

Нефедов высокомерно усмехнулся. "Как он подчеркнул <<всем>>. Благодарю, благодарю. Будто ты не знаешь: я первым бы тебя вздернул. Да время не то. Эх, Семен, Семен..."

Буровой мастер не ответил гебисту.

- А я все сделаю, чтобы помочь Семену. Все. Ты мне поверь.

"Так я тебе и поверил. Это ты здесь такой добрый".

Мастер опять промолчал.

Он также молча смотрел, три дня спустя, как Вропский, Березов, Шубина и Чургучева садились в вздеход.

К нему подошел Терентьев:

- Снова тихо станет, а, начальник? Но славно мы покуролесили. Как вольность проявили, любо-дорого вспомнить.

Шубина не выглянула из кузова; желание Нефедова взгрустнуть расплозлось спокойным взглядом по тихому снегу на земле, торчащей безвредным кукишем вышке,

по безмятежному Кусту. На душе Нефедова была в общем радость; пятнышки грусти, неловкости, стыда не мешали.

- Чего молчишь, мастер? Была же у нас свобода? Была же.

Нефедов добродушно пожал плечами:

- Не свобода была, а Дунькин Пуп. Идем, Лошадь, поговорить надо. Без стихов.

1985 г.

Оглавление

Глава I.	Отпуск бурового мастера	3
Глава II.	Трудное задание	34
Глава III.	Искушение греха	53
Глава IV.	Забастовка Вропского	77
Глава V.	Охота	100
Глава VI.	На Кусте	153

*Литературно-художественное
издание*

**Владимир Мечиславович
Рыбаков**

ТЕНЬ ТОПОРА

Оригинал-макет изготовлен на персональном компьютере.
Формат 84 x 108 1/32. Подписано к печати 14.10.91. Гарнитура
школьная. 10.5 усл. печ. л. 11.11 уч.-изд. л. 11.02 усл. кр. отт. Ти-
раж 75000. Цена договорная -10р 3 1 - 315

МГП „Петрополис“
1999034, Санкт-Петербург. Менделеевская лин., 1.

Киевская книжная фабрика
254054, Киев, ул. Воровского, 24.

МГП „ПЕТРОПОЛИС”
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

издает серию
„РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ”

Владимир Рыбаков

Готовится к печати

„АФГАНЦЫ”

Повесть „Десантная группа” и рассказ „Возвращение”, принадлежащие перу известного политического и общественного деятеля, писателя и публициста русской эмиграции Владимира Мечиславовича Рыбакова, является одним из самых ярких и удачных произведений о войне в Афганистане не только в литературе русского зарубежья, но и вообще в русской литературе. Их успех определен не только талантом автора, но и глубоким проникновением в проблемы, связанные с этой несчастной войной. Проблемы эти Рыбаков изучил не по публикациям в прессе, а на собственном опыте. Во время Афганской войны он находился в Пакистане, занимаясь спасением наших пленных и едва не погиб из-за действий против него КГБ. Его статьи об этой войне, публиковавшиеся в 80-е годы в журнале „Посев”, вызвали в свое время сенсацию за рубежом и в нашей стране. Сборник „Афганцы” был переведен на английский язык и один из западных литературных обозревателей в своей рецензии написал о том, что „Афганцы” стоят в одном ряду с такими произведениями как „На западном фронте без перемен” Э.-М. Ремарка и „Нагие и мертвые” Н. Мейлера и относятся к лучшим образцам военной прозы.

Повесть и рассказ Рыбакова повествуют не только об ужасах, жестокостях и бессмысленности войны, военных преступлениях, коррупции и стукачестве в Советской Армии, но и о мужестве, „подпольном” боевом братстве наших солдат и офицеров в Афганистане. Несмотря на трагизм описываемых событий произведения Рыбакова не оставляют мрачного настроения, потому что читатель убеждается, что даже там в аду Афганской бойни начиналось зарождение новой свободной России.

СПб.: МГП „Петрополис”, 1991. — 140 с. — 5 р.

**МГП „ПЕТРОПОЛИС”
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ**

**издает серию
„РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ”**

Ф. Незнанский

Вышла в свет

ЯРМАРКА В СОКОЛЬНИКАХ

Стажер А. Турецкий и его опытный наставник следователь К. Меркулов расследуют очередное преступление в Москве. Неподалеку от главного павильона международной ярмарки в парке „Сокольники” убит ответственный сотрудник Внешторга Виктор Ракитин. В кулаке убитого обнаружен обрывок столонларовой купюры... В тот же вечер в гостинице „Центральная” найден труп женщины... Выясняется, что это известная балерина Валерия Куприянова, любовница Ракитина. Пропавший портфель Ракитина содержал разоблачение плана под кодовым названием „Экспорт” и другие сведения, которые, попав в западную прессу, произвели бы сенсацию. Идет погоня различных лиц за этим портфелем.

На фоне работы следователей по раскрытию этого двойного преступления автор описывает судьбы своих героев — рядовых следователей, работников уголовного розыска, ОБХСС, экспертов, врачей, их нелегкую жизнь и полную опасностей работу.

Конкретные следственные материалы из практики автора, советского следователя, положенные в основу этого детективного романа, подтверждают, что в различных сферах советской жизни орудует хорошо организованная и прикрываемая крупными чиновниками мафия.

СПб.: МГП „Петрополис”, 1991. — 331 с. — 10 р.

Владимир Мечиславович Рыбаков (Щетинский) родился в 1947 г. во Франции в семье врачей и художников. Будучи коммунистами, Щетинские в 1956 г. переехали в Советский Союз. С 15 лет Владимир начал трудовую деятельность и в этом же возрасте написал свои первые рассказы. В 1966 г. он был исключен из Черновицкого университета „за плохое поведение и критические высказывания“, после чего был призван в армию. Демобилизовавшись, Владимир Мечиславович продолжал писать, не надеясь на публикации своих произведений. В 1972 г. Рыбаков вынужден был эмигрировать и ему удалось возвратиться во Францию, где он работал в редакции „Русская мысль“, на страницах которой регулярно печатались его литературные и политические статьи. Кроме того, его произведения публиковались в журналах „Континент“, „Время и мы“, „Эхо“. В 1984 г. Владимир Мечиславович переехал во Франкфурт-на-Майне.

Романы В. Рыбакова „Тяжесть“ (1974) и „Тавро“ (1981), а также сборник художественных очерков „Тиски“ (1985) создали ему репутацию профессионального писателя. В романе „Тяжесть“ и сборнике „Тиски“, состоящем из 60 рассказов, автор нарисовал правдивую картину будней советских солдат, показал подавление человеческой личности и призывает к уважению достоинства человека. В этих книгах отражены опыт армейских лет самого писателя и впечатления его от поездок в Афганистан. В романе „Тавро“ описана жизнь русского эмигранта во Франции. В. Рыбаков показывает, что за материальными проблемами и проблемами человеческих отношений стоит важнейшая проблема: как советский эмигрант, выросший в условиях тоталитаризма, пытается избавиться от этого „тавра“, мешающего ему ощутить себя по-настоящему свободным.

Предлагаемый вниманию читателя роман „Тень топора“ – первая публикация В. Рыбакова в нашей стране. В детективном жанре на примере изолированной группы рабочих сибирской буровой вышки автор показывает, как рождаются особое отношение к власти и потребность в самостоятельном решении вопросов права, жизни и смерти.

